
Татьяна СЕРГЕЕВА

ТОРТ НЕМЕЦКИЙ — БАУМКУХЕН, ИЛИ В ТЕНИ ЛЕОНАРДО

Роман

Вместо вступления

Зимой 2019 года лабораторией археологии СПбГУ проводились плановые реставрационные работы в Меншиковском дворце в Петербурге. В какой-то день рабочие вскрыли полы в Наугольных палатах — и онемели от неожиданности. В завалах обычного строительного мусора оказались настоящие сокровища — несколько тысяч документов разных эпох, начиная с восемнадцатого века до недавнего прошлого, рапорты, отдельные листы из учебников геометрии и французского языка, записки, доносы и прочее... В Меншиковском дворце когда-то располагался Сухопутный шляхетский корпус, а в советское время — Военно-политическое училище, Военно-транспортная академия, 1-й Юридический институт.

Все найденные бумаги были в сухой пыли, влага, видимо, под пол не проникала. Весь ценный клад собирали в мешки, пронумеровывали и после этого просеивали через специальное сито... Сегодня эти ценнейшие находки переданы в музей СПбГУ. В результате предварительного осмотра были сделаны первые выводы: документы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого века, века двадцатого и советских лет, сохранились прекрасно. К сожалению, бумаги более раннего периода — конца восемнадцатого — начала девятнадцатого века — достаточно сильно повреждены...

Перед вами подлинные воспоминания петербургского обывателя середины восемнадцатого — начала девятнадцатого века. Восемнадцатый век оставил нам много прекрасно сохранившихся официальных документов, но, к сожалению, частных писем, записок, мемуаров среди них почти нет, видимо, в архивы они тогда не попадали. Толстая тетрадь, найденная под полом Наугольных палат, исписанная тонким, «готическим», «немецким», как говорили в те времена, почерком, представляет собой редкое исключение. В этих воспоминаниях рассказчик не только повествует о собственной повседневной жизни петербуржца того времени, но и о знаменитых современниках,

Татьяна Александровна Сергеева родилась в Уссурийске в 1943 году, по первой специальности врач, работала врачом «Скорой помощи», врачом сборной СССР по спортивной гимнастике. Окончила факультет кинодраматургии ВГИК по специальности «кинодраматург, литературный работник телевидения». Работала старшим редактором литературно-драматической редакции Хабаровского краевого телевидения. Член Союза журналистов. Печаталась в периодических изданиях Дальнего Востока. Повесть «Вольные упражнения» (изд. «Компас Гид», 2018) отмечена литературной премией «Заветная мечта» как «лучшее произведение для детей и подростков, об их отношениях с миром взрослых».

с которыми он был тесно связан. И прежде всего о жизни Николая Александровича Львова, близкого автору человека — нашего, почти забытого русского Леонардо.

К сожалению, прочитать что-то на последних страницах этой тетради не смогли даже специалисты — книжные реставраторы. Для бытовой переписки в то время использовалась толстая, шероховатая бумага, окрашенная в серо-голубые тона. На ней чаще всего писали коричневыми чернилами, которые настолько выцвели, что стали совершенно неразличимы...

Пролог

Появлению этих моих записок способствовало одно весьма грустное событие, случившееся еще в мае прошлого, 1810 года. Посетили мы тогда с Гаврилой Романычем Державиным Никольское-Черенчицы близ Торжка — имение дорогих нам усопших — незабвенного Николая Александровича Львова и жены его Марии Алексеевны, урожденной Дьяковой... С Державиным меня связывает близкое многолетнее знакомство, и я с готовностью откликнулся на его предложение быть ему компаньоном в поездке в дорогое для меня имение, в котором прошли мои ранние годы.

Имение Никольское ныне принадлежит старшему сыну Львовых Леониду. По делам службы он не мог нас сопровождать, но дворня соответствующие распоряжения получила, и нас там ждали. Дорога до Никольского, конечно, была довольно обременительной: все-таки стояла ранняя весна, распутица... Гаврила Романыч при каждом толчке охал и потирал спину: сказывался возраст. Но был он удручен вовсе не тряской на дороге. Очень он переживал по поводу своей любимицы — Лизоньки.

Дело в том, что Львовы оставили на этом свете пятерых детей. Старший их сын, Леонид, окончил юнкерскую школу при Сенате и пошел по стопам отца — служит в Коллегии иностранных дел. Второй сын, Александр, нынче занимает должность в Министерстве юстиции. Ну, а трех младших дочерей Львовых бездетный Державин удочерил. Женатый вторым браком на Дарье Алексеевне Дьяковой, младшей сестре Марии Алексеевны Львовой, он был теперь им дядей. Дети жили в его доме, он заботился о всех пятерых, но все-таки особенно выделял старшую дочь Львовых — Лизу. Она была у него секретарем и весьма усердно выполняла свои обязанности. И вдруг случилось непредвиденное: вопреки желанию приемных родителей она твердо решила выйти замуж за своего двоюродного дядю-вдовца — Федора Петровича Львова. Все бы ничего, но у него было наследство — десять детей, а Лизоньке всего-то двадцать два года! Очень Гаврила Романович переживал по этому поводу, не такой судьбы хотел он своей любимице, но при независимом характере Елизаветы несколько не исключалось и тайное венчание, по примеру ее родителей! Я напрасно пытался его успокоить, осторожно советовал предоставить все на промысел Божий, ведь сам Николай не однажды говорил, что Лизу невозможно переупрямить! Но Гаврила Романыч в ответ только головой качал и сокрушался еще более.

Наконец добрались мы до Никольского. Управляющий имением поселил нас в гостевом двухэтажном доме, построенном когда-то Львовым для своего друга Петра Вельяминова. Дом этот землебитный, теплый и отапливаемый известным львовским способом, как и мой собственный на Миллионной улице...

Приехали мы в Никольское уже к ночи, прилично уставшие, потому, отужинав, тут же разошлись по своим комнатам. Утром нам подали сытный завтрак, и, выпив кофе, отправились мы с Гаврилой Романычем в обход имения, но каждый своей дорогой.

Державин тут же пошел в храм-усыпальницу, где вечным сном покоятся наши незабвенные друзья. Я не стал ему мешать: каждому из нас надо было побыть у дорогих могил в одиночестве. Мне прежде всего захотелось навестить на погосте давно усопше-

го своего батюшку. Посидел я на скамеечке подле его могилки, хорошо прибранной и ухоженной, поговорил с ним, рассказал о своей жизни. Не без гордости поведал ему о том, что я нынче в Петербурге не последний человек, ресторан мой — один из лучших в столице, славится своими блюдами и гостеприимством и приносит мне немалый доход. Похвалил внука его Николая, который унаследовал наше семейное кухонное ремесло, во всем для меня помощник и опора и ведет дела нашего ресторана ловко и грамотно. Рассказал я батюшке, что внучка его Машенька унаследовала от матери чудный талант кружевницы и что заказов у нее от самых знатных дам столицы полным-полно. Поделился я с батюшкой и радостной новостью, о том, что Машенька год назад счастливо вышла замуж и к осени должна родить ему правнука или правнучку. Значит, род Кальбов будет здравствовать...

Попрощался я с батюшкой, поклонился в пояс его могилке и отправился бродить по имению. Для меня Никольское ведь дом родной. Каждый уголок в нем мне знаком. Здесь прошло детство наше с Николенькой Львовым. Приезжал я сюда частенько и в последующие годы своей жизни, радовался, как преображается, каким красивым становится старое имение. А как пошли у Львовых детишки, жил я здесь со своей семьей подолгу каждое лето, считая своим долгом вкусно кормить всю нашу дружную компанию. В те самые годы какие люди сюда приезжали, Боже мой! Но об этом после...

В храме-усыпальнице склонился я перед святыми для меня могилами Львовых в низком поклоне и долго стоял, не поднимая головы. Кругом была тишина, только звенели синицы и где-то звонко стучал по дереву дятел...

Николай... Николай Львов... Если бы судьба не свела меня с ним, остался бы я занудой обывателем, унылым невеждой, ничего не ведающим далее кухонной плиты. Я прожил большую часть жизни в тени гения, и эта благодатная тень сделала меня тем, кем я нынче есть. Я стал образованным человеком, свободно говорящим на трех языках, приобщился к миру прекрасного, к живописи, к музыке... Благодаря нашей тесной душевной привязанности я не только познакомился с замечательными, удивительными людьми, которые окружали Николая, но и сам оказался связан с ними своими собственными нитями. Кроме того, супруги Львовы немало способствовали тому, чтобы получили достойное образование и мои дети. Знание иностранных языков, любовь к музыке, художественный вкус — все пришло к ним из дома Львовых, не говоря уже о тех великолепных учителях, которые с одинаковым усердием обучали детскую компанию в обоих наших домах.

На обратном пути долго ехали мы с Гаврилой Романычем молча, думая каждый о своем. Дорога из Никольского до Торжка едва успела освободиться от снега, кругом были огромные лужи, скрывавшие глубокие рытвины, набитые колесами экипажей в зимние месяцы и в нынешнюю весеннюю распутицу. Тяжело охнув и потеряв поясницу после очередного дорожного ухаба, Гаврила Романыч вдруг сказал.

— Послушай, Адриан, какие мысли пришли мне в голову, когда стоял я в одиночестве и тишине у могилы нашего Николая.

Он потихоньку откашлялся и прочитал, как всегда, нараспев:

Плакущие березы воют,
Черну наклоняся тень;
Унылы ветры воздух роют;
Встает туман по всякий день —
Над кем? — Кого сия могила,
Обросши повиликой вкруг,
Под медною доской сокрыла?
Кто тут? Не муз ли, вкуса друг?

Голос его дрогнул. Старик замолчал. Я тоже молчал, не в силах произнести ни слова. Державин вздохнул и грустно произнес.

— Я дома допишу... Это так — первые мысли.

И помолчав немного, Державин вдруг произнес:

— Знаешь об чем я думаю, Карлуша? — встретив мой вопросительный взгляд, он виновато усмехнулся. — Ты уж прости, дорогой, сколько лет прошло, а все не могу я привыкнуть к твоему русскому имени... Для меня ты так Карлушей и остался...

— Бог с вами, Гаврила Романыч... — отмахнулся я. — Я по рождению Карл, имя «Карлуша» мне собственную юность напоминает... Вы что-то начали говорить, продолжайте, я внимательно слушаю...

— Да... Я вот о чем... Семь лет миновало, как нету с нами Николая, нашего «гения вкуса», как мы, друзья, звали его за глаза... Но все в жизни проходит и забывается. Имя Львова стараниями его завистников и недоброжелателей начинает стираться из памяти наших современников. Очень мне хочется написать о нем, только дела мои творческие не дают свободного времени, все откладываю да откладываю на потом... Мне на свои «Записки» о собственной жизни, что начал писать давненько, сил не всегда хватает. Годков-то мне не убывает, шестьдесят восемь стукнет нынешнем летом, коли даст Господь дожить... Вот я и подумал нынче, пока мы по усадьбе-то львовской бродили... Отчего бы тебе не взяться за этот труд?

Я просто онемел от такого предложения. И от кого! От самого Державина! Что-то пытался возразить, бормотал что-то нечленораздельное.

— Ты с Николаем поболее меня связан был. С самого общего вашего детства. Человек ты весьма грамотный. Слог у тебя легкий — я твои кулинарные записки, кои ты моей жене представил, с большим удовольствием прочитал, много смеялся, поскольку они остроумны и неожиданны весьма. Почему бы тебе серьезно за перо не взяться? Львов — это ведь не только сам Львов... Вокруг него столько замечательных людей теснилось! Каждому из них можно мемуары посвятить...

Гаврила Романыч не унимался и, более того, воодушевлялся собственной идеей все более и более. Я, конечно, возражал, считая, что любые мои потуги в написании мемуаров, посвященных Львову, будут самой настоящей дерзостью и неуважением к памяти нашего общего друга... На станциях мы выходили, конечно, чаевничали, перекусывали, что нам с собой в дальнюю дорогу в Никольском приготовили, но так от этого спора и не отвлеклись. Даже когда остановились мы в Новгороде, он только рукой махнул, указав мне на поворот дороги, по которой всего пятьдесят пять верст до его любимого имения Званки, где он теперь, после ухода в отставку, проводит все летние месяцы... Так мы и проспорили всю дорогу до Петербурга, трясясь в коляске по непросохшей весенней дороге. Но что вы думаете?! Убедил меня Гаврила Романович, согласился я попробовать что-то написать, при условии его постоянного наблюдения за творчеством моим. На том и порешили. Правда, прошло немало времени после этого разговора — никак я не решался взяться за перо. Ну, а как написал первую фразу, первую строчку — так и пошло... Но предупреждаю заранее, любезный читатель, что я намеренно в своих записках не стал касаться событий исторических, эпохальных не только в России, но и в Европе: войн, революций, бунтов, казней и подобных тому потрясений. Не мне, обывателю, немцу по происхождению, судить о них. И тем более не стану я пересказывать всякие сплетни и чужие суждения об известных людях и событиях. Перед вами только мои воспоминания о собственной частной жизни простого петербуржца, хоть и называюсь нынче «именитым», а все равно я самый что ни на есть примитивный обыватель. И хотя дал я себе крепкое слово писать о себе самом как можно меньше и сдержаннее, только самое необходимое, чтобы будущему моему читате-

лю представить прежде всего яркую личность Николая Александровича Львова, а не свою собственную, весьма заурядную личину, но ничего у меня не получилось: как я ни старался, записки мои оказались очень личными, о себе, о судьбе своей все равно пришлось рассказывать очень подробно. Не получилась у меня биография Николая Львова, а вышла этакая повесть о собственной жизни. Дело в том, что только в детстве и юности мы шли с ним плечом к плечу, в ногу, а потом дороги наши разошлись — у каждого своя собственная. Последние годы его жизни мы поддерживали нашу связь только частыми письмами: Николай жил в Москве, где у него была большая удобная квартира на Воронцовом поле, а как занемог, то вовсе не покидал своего имения. Я многого не понимал в его профессиональных делах, тем более что творил он в самых разных областях, весьма далеких от моей жизни. У меня она была самая простая, может быть, даже примитивная, а у него был сложный, порой запутанный путь разносторонне одаренного Богом человека... Но в одном мы были с ним похожи, в одном неизменно друг друга понимали — это в целеустремленности своей, несгибаемости, последовательности в достижении цели. Конечно, я во многом подражал ему в этом, порой, когда сдавали нервы от неудач и хотелось все бросить или оставить все как есть и не двигаться вперед, я оглядывался на Николая, и мне становилось стыдно: почему он может никогда не сдаваться, не сгибаться, а я, оказывается, по сравнению с ним бесхарактерный слюнтяй... И, как ни странно, после этих сравнений и размышлений дела мои выравнивались и даже начинали идти в гору...

Я, конечно, расстроился, что не получились у меня воспоминания о самом близком друге, тем более что я очень боялся разочаровать Державина в его надеждах на мои способности мемуариста. Дождавшись осенью его возвращения из Званки, посетил я его в доме на Фонтанке, построенном для него Николаем Львовым, и дрожащей рукой передал ему свои записки. И стал ждать приговора.

Он отмалчивался довольно долго, я было совсем извелся, когда пришел от него за мной человек. Гаврила Романыч принял меня в своем большом уютном кабинете. Я вошел робко, не решаясь даже взглянуть на него. Он указал мне на кресло рядом с собой, пристально посмотрел на меня и вдруг громко расхохотался.

— Чего ты такой испуганный? Адриан, милый, творчество — процесс живой: задумываешь, бывало, одно, а напишешь — и получается совсем иное... Конечно, не вышла у тебя биография Львова. Увы! Но зато совсем неожиданно получилась весьма любопытная собственная твоя история — история человека, одаренного в области, мало кому известной... Счастье твое, что на жизненном пути тебе встретились замечательные люди, о которых ты так остроумно рассказываешь... Но и сама по себе повесть жизни твоей необычайно любопытна, написана она добротнo, написана так, словно ты всю жизнь только писательством и занимался. Я от души поздравляю тебя!

Голова моя закружилась от счастья: получить одобрение от такого мастера, как Державин! Мы еще долго с ним говорили. Гаврила Романыч указал мне на целый ряд моих погрешностей, и литературных, и грамматических. Немец по происхождению, я не слишком сведущ в русском правописании, сколько в юности надо мной ни бился Николай. В конце концов мы договорились, что править мою рукопись будет Лизонька, которая нынче всюю готовилась к предстоящему бракосочетанию, не слушая никаких увещаний своих приемных родителей. Тем не менее, как я после узнал, она с готовностью согласилась привести мою рукопись в порядок.

Вот такое длинное вступление написал я к своему литературному труду. Думаю, оно вполне оправданно, поскольку иначе как мне было бы объяснить вам, любезный читатель, с чего это я, старый кондитер и повар, вдруг принялся за литературный труд.

Итак, не медля более, я начинаю свою историю со времен весьма давних.

* * *

...Как только Анна Иоанновна, герцогиня Курляндская, обосновалась на русском троне и вслед за ней прибыл в Петербург ее всемогущий любовник Иоганн Эрнст Бирон, потянулись за ними многие их соотечественники в надежде на легкие заработки и быстрое обогащение. В известных петербургских домах стало модно нанимать немецких и голландских поваров, их даже специально выписывали из-за границы. Насколько мне известно из семейных преданий, в Россию был выписан чуть ли не самим Бироном и мой дед, поскольку славился он своим кулинарным искусством по всей Курляндии. Семейство его к тому времени состояло из моей бабушки и двух сыновей-близнецов, семи или восьми лет от роду. В доме какого-то богатого немца дед мой счастливо трудился более пяти лет. Но вдруг разразилась неожиданная катастрофа: Анна Иоанновна умерла. Взошедшая на престол Елизавета Петровна объявила себя истинно русской императрицей, наследницей великого батюшки своего, и отправила в ссылку вместе со своими многочисленными семействами всех чиновников-иностранцев, изрядно обогатившихся под крылом Курляндской герцогини и Бирона. Не миновала сия участь и хозяйина деда моего. Отправлен он был в далекий сибирский город Тобольск. Был он вдов и бездетен, но изрядно богат и расставаться со своими слугами не захотел. Да и кушать сытно и вкусно он страсть как любил. Деду моему с женой и мальчиками деваться было некуда, в Петербурге оставаться было опасно: слишком велик был гнев народный на тех самых иностранцев, крепко прилепившихся к русскому трону. На улицах по ночам не прекращались убийства и грабежи. И поехало семейство моего деда в Сибирь следом за своим господином. В Тобольске сосланный хозяин довольно быстро почил. Несколько раз пришлось деду моему менять своих господ, но в конце концов поварское искусство его получило огласку по всему городу, и оказался он в поварне самого губернатора Сибири Мятлева. Сыновья деда — мой незабвенный батюшка, Франц Николаевич Кальб, как звали его в России, и другой, любимый дядя мой Ганс Николаевич, — выросли в поварне, а точнее, как позже стали именовать это специальное строение, в кухонном флигеле.

Здесь готовилась еда и после приносилась в господский дом. Здесь же была и квартира деда, где он до самой своей смерти прожил со своим семейством. Сыновья росли, иногда не гнушались прислуживать хозяевам и именитым гостям за столом, а самое главное, перенимали у батюшки умение по приготовлению разнообразных блюд и угощений. Причем еще в те давние времена появились у каждого из них свои предпочтения, в которых они достигли весьма большого искусства. Отец мой любил и умел готовить наивкуснейшие сибирские первые и вторые блюда, а дядюшка проникся страстной любовью к изготовлению разнообразных десертов и всяких выпечек, вроде шанежек, пирогов, кулебяк и расстегаев, до которых сибиряки большие охотники. Но дед и бабушка старели, дряхлели и, так уж случилось, покинули этот мир в один год. И поварня в доме губернатора перешла по наследству их сыновьям. К тому времени батюшка мой был женат. Матушка моя, тоже из немцев, была белошвейкой в губернаторском доме, и в 1755 году родился у них я, Карл Францевич. Дядюшка мой так и остался холостым до самой своей смерти.

Едва мне исполнилось восемь лет, как умерла совсем молодой моя матушка. Остался я на попечении двух мужчин — отца и дяди, которые все сделали, чтобы я вырос порядочным, достойным человеком.

Жизнь продолжалась. Обстоятельства нашего существования в Тобольске снова изменились. Губернатора Мятлева, отправленного в чине адмирала на корабельный

флот, сменил на этом посту Федор Иванович Соймонов, личность замечательная во всех отношениях. О нем короткие заметки писать сложно. Здесь искусство романиста требуется, а не мои жалкие потуги. Подробные описания его славных деяний интересующийся читатель найдет во многих исторических справочниках. Ну а я постараюсь высказаться о нем кратко и, так сказать, официально. Иначе, любезные читатели, трудно будет понять, почему моя жизнь в определенный период оказалась тесно связанной с этой фамилией.

Итак. Сподвижник великого Петра и человек, сделавший немало для молодой России, Федор Иванович в годы царствования Анны Иоанновны оказался случайно замешан в запутанном деле некоего Андрея Волынского и был приговорен вместе с ним к смертной казни. Но прямо на эшафоте смертная эта казнь была отменена. У Федора Соймонова вырвали ноздри, он был высечен кнутом и отправлен на каторгу в Охотск. Но года через два достигла его милость новой государыни Елизаветы Петровны. Думаю, что немалую роль сыграли здесь и слезные прошения несчастной супруги его, умолявшей дочь Петра смягчить участь преданного соратника ее отца. С трудом разыскали на каторге царские посыльные Федора Соймонова... Ему вернули все утраченные почести и разрешили жить, где пожелает. Вернулся он из столицы обратно в Сибирь вместе с женой, старшим сыном и младшей дочерью — старшая была уже давно замужем, а младшая так замуж и не вышла, после смерти матери всегда была при старике. Ну а младший его сын остался в Петербурге, где обучался строительному и архитектурному искусству. Этому человеку я многим обязан, о чем вы, мои любезные читатели, прочитаете далее.

Губернатор Мятлев был старым флотским товарищем Соймонова и вскоре предложил ему возглавить секретную Нерчинскую экспедицию, как я сейчас понимаю, созданную с целью укрепления позиций России на Тихом океане. В этом деле первым помощником ему стал старший сын Михаил. Ну, а как Федор Иванович сменил Мятлева на губернаторском посту, то много славных дел произвел в Сибири и оставил там о себе воспоминание как о человеке требовательном, принципиальном и... добром. И, между прочим, отменил все телесные наказания. Часто повторял: «Я знаю, что такое кнут». Я, конечно, того помнить не могу, но, говорят, до самой смерти не показывался он в публичных местах без легкого платка, прикрывавшего нижнюю часть лица с вырванными ноздрями...

Императрица Екатерина Вторая в 1763 году уважила просьбу овдовевшего семидесятилетнего старика и уволила его от губернаторства. Федор Иванович Соймонов должен был вернуться в Москву и служить там сенатором при Московской сенаторской конторе, занимаясь проблемами сибирской политики.

Старший его сын, Михаил Федорович, к тому времени настолько преуспел в горном деле, что был назначен императрицей главой Берг-коллегии в Петербурге. А младший сын, Юрий Федорович, как я писал ранее, давно обосновался в столице. У него был большой дом на Васильевском острове, он только что женился и с нетерпением ожидал приезда старшего брата. Служил он строителем или даже архитектором в Конторе строений.

Тем временем в Тобольск стали доходить упорные слухи, что в Петербург вновь стекаются немцы. Новая государыня была немкой, но поскольку любила она французских философов и даже вела с ними переписку, то к немцам вскоре присоединились французы, за ними потянулись итальянцы, греки и прочие иноземцы...

Как пустилось семейство Соймоновых в дальнюю дорогу — Федор Иванович с дочерью и Михаил Федорович, взявший на себя все дорожные хлопоты, — так с ними отправились и мы — два повара немецких кровей, не пожелавших более оставаться в Сибири, да с ними я — малолеток, девяти лет от роду.

Не буду описывать долгое и тяжелое путешествие по Сибирскому тракту — не о том пишу записки эти. Я так устал от бесконечной тряски, пронзительного звона бубенцов, ругани встречаемых ямщиков, что было тогда у меня единственное желание — добраться до какой-нибудь лежанки да свалиться на нее замертво. Но как прибыли мы наконец в Москву, сразу покорила она меня, мальчишку, яркостью своих церковных куполов, множеством народа и громкими голосами разносчиков на улицах. Михаил Федорович поселил старого батюшку с сестрицей в Москве в каком-то богатом доме, и, отдохнув пару дней, тронулись мы в дальнейший путь. Из разговоров взрослых узнал я, что впереди у нас дорога до некоего города Торжка, из которого надобно будет повернуть в сторону и эдак верст пятнадцать проехать до каких-то Черенчиц. Черенчицы эти были именем двоюродного брата Михаила Федоровича, некоего Александра Петровича Львова, который с нетерпением ожидал его приезда. Здесь мы должны были отдохнуть несколько дней, чтобы набраться сил для последнего пути до Петербурга...

Так все и сложилось. Приехали мы в Черенчицы глухой ночью. В барском доме поднялся переполох, шум, гам... Потом все разобрались, успокоились, наш отряд накормили, напоили чаем и отправили спать по разным комнатам. Я к тому времени совсем расслабился и не очень понимал, куда меня ведет барский лакей. А привел он меня в детскую, где жил господский сынок Николенька, который, как положено мальчику его лет, в это время крепко спал. При свете тускло мерцающей свечи слуга постелил мне пушистую перину прямо на полу у его кровати. Я завалился на постель и мгновенно заснул.

Проснулся от яркого солнечного луча, который бил из распахнутого окна прямо мне в глаза, и не сразу вспомнил, где нахожусь. И вдруг увидел перед собой сидящего на кровати мальчика ненамного меня старше. Он удивленно смотрел на меня большими глазами, не понимая, откуда я взялся в его комнате.

— Ты кто таков? — наконец спросил он.

Разговаривать с господами меня обучили еще в раннем детстве. Побарахтавшись на перине, я наконец сел и вежливо ответил:

— Я — сын повара и белошвейки губернаторского дома из Тобольска.

— Из самого Тобольска? — поразился Николенька.

Я очень удивился тому, что он знал о существовании моего родного города Тобольска, и, несколько смущаясь, сбивчиво объяснил ему, как мы оказались в имении его родителей.

Глаза у мальчика загорелись. Он очень обрадовался тому, что мы пробудем у них несколько дней. Мы начали оживленно разговаривать, сразу приняв общий тон.

— А почему ты как-то разговариваешь... Ну, не совсем так, как я?

Я понял, что он имеет в виду.

— Так потому что я — немец. И дядюшка, и батюшка мой — немцы. И матушка покойная... Мы все несколько не так говорим, как русские люди.

Николенька хотел еще о чем-то спросить, но тут его позвали мыться и одеваться к завтраку, а мне велели идти в поварню, указав туда дорогу. Там я нашел отца и дядю в большом возбуждении. Оказалось, что кухня у Львовых совсем недавно осиротела: уж не помню, почему в ней в то время не оказалось повара. Еду для господ готовили случайно назначенные к тому люди из крепостных, а про выпечку вообще пришлось забыть. Все было безвкусно и некрасиво. Потому-то хозяева имения очень обрадовались появлению профессионалов сего дела, да еще с такой характеристикой, как многолетняя работа в губернаторском доме. Они тут же были приставлены к работе и, несмотря на усталость, не подумали отказываться. Им показалось полезным послужить Львовым, которые так любезно приняли среди ночи нашу экспедицию...

Ну, а мы с Николенькой целый день бегали по всему имению. Был он старше меня на неполных два года, очень быстрый и нетерпеливый. После обеда он должен был заниматься с учителем арифметики и потому очень спешил показать мне все местные достопримечательности до начала урока. Из дома мы побежали на конюшню, оттуда в амбар, из которого прямо на птичий двор, в старый фруктовый сад, на заросший ряской пруд, а после мы даже на речку сбегали. Эти перебежки мне давались непросто. Во-первых, я был младше и не отличался ловкостью. А во-вторых, еще не успел прийти в себя после столь утомительного и длительного путешествия из Сибири. У меня болели все мышцы, а про место, на котором сидят, и говорить нечего. К счастью, подошло время обеда, и мы расстались. Я вернулся в поварню. Обед уже начали разносить, по всему дому очень вкусно пахло, и я так захотел есть, что едва заметил, что мои старшие родственники чем-то не то озабочены, не то обрадованы... Меня накормили, и я свалился тут же на какую-то скамейку и заснул.

Когда я проснулся, оказалось, что в поварне, кроме меня, никого нет... От случайно забежавшей горничной я узнал, что батюшка мой и дядя были званы в гостиную для разговора с господами. Не успела она договорить, как мужчины мои вернулись очень довольные и возбужденные. Из их слов стало понятно, что батюшке моему в этом доме предложено место повара, которого, как мы уже знали, не было в господском доме считай что недели три. Значит, мы с ним остаемся в Черенчицах. А в Петербург вместе с Михаилом Федоровичем отправится один дядя Ганс, который будет служить в доме братьев Соймоновых, где Юрий Федорович только что рассчитал за какую-то провинность своего повара. Как я понял из разговоров взрослых, в таком решении хозяина имения Александра Петровича Львова немалое место занимало наше немецкое происхождение. Батюшке и мне было отдано настойчивое распоряжение разговаривать с барышнями, старшими сестрами Николеньки, а особенно с ним самим, в основном по-немецки... Уже позднее понял я и другое преимущество моего пребывания в доме Львовых: Александр Петрович, как и многие господа того времени, посчитал, что его сыну будет очень полезно иметь тесное общение с мальчиком, своим ровесником, поскольку до сих пор он дружил только со своими старшими сестрами.

Не мешкая более, утром следующего дня Михаил Федорович и дядя Ганс отправились в Петербург, а нас с батюшкой к ночи поселили в доме для слуг, выделив весьма большую комнату с просторными чуланами, в которые мы и разгрузили наш семейный скарб.

После ужина Николенька снарядом залетел в поварню, принялся меня тормошить и тискать.

— Я так рад! Я так рад! Только... — он на мгновение остановился. — Батюшка велел тебе со мной по-немецки разговаривать. У нас здесь вокруг нет ни одного немца, а он очень хочет, чтобы я по-немецки, как по-русски, болтал... Ну да это потом... Потом разберемся.

Он пребольно хлопнул меня по плечу и убежал.

Так мы с батюшкой остались в Черенчицах на долгие годы.

Ну вот... Это, так сказать, вступление, пролог всей истории... Да простит меня будущий читатель, старался я его писать как можно короче, да все равно получилось достаточно длинно... Но без этого трудно было бы мне объяснить, почему так тесно переплелись наши жизни с Николенькой, впоследствии — с Николаем Александровичем Львовым.

Конечно, детские годы в Черенчицах вспоминаю я нынче обрывочно. Но зато хорошо помню старый деревянный господский дом, стоявший на холме. В нем было несколько комнат, спальня, большая гостиная с красивой, как мне тогда казалось, мебелью, с вычурными канделябрами на каминной решетке... Но центром господского

дома был, конечно, кабинет Александра Петровича, в котором он решал все внутренние дела усадьбы. Обставлен он был очень скромно, стояла в нем старинная дубовая мебель, на стенах висели какие-то картины с морскими баталиями, а на письменном столе, помню, были большие часы с золотыми стрелками. Но здесь на широких полках стояли книги. Что такое книга, я прекрасно знал: в губернаторском доме в Тобольске была целая библиотека, но количество книг в господском доме в Черенчицах поразило меня. Часть из них, конечно, была нужна хозяину для ведения хозяйства, а различные календари содержали советы на все случаи жизни. Но самое главное, в кабинете Александра Петровича была небольшая, но весьма полная библиотека для художественного чтения. Выбор был, как я теперь понимаю, весьма основателен: и «Дон Кихот», и «Похождения Жилия Бласа», и «Робинзон Крузо»... Став взрослее, Николай полюбил поэзию, и вскоре у отца в библиотеке появились Ломоносов, Сумароков и даже Херасков. Книги эти перечитывались всем семейством по нескольку раз — и хозяином, и хозяйкой, и барышнями — старшими сестрами Николеньки, и им самим. Бывало, прочтает Николай какую-нибудь новую книгу, которая его заинтересует, и тут же тащит ее мне. Я сначала-то с трудом читал по-русски, но с его помощью быстро освоил язык, который стал для меня родным.

А Николай не только мне книжку всучит, но и с чтением торопит, чтобы потом обсудить со мной особенно взволновавшие его места. Благодаря ему я еще в те времена приобщился к чтению, и теперь у меня самого огромная библиотека, и я часами пропадаю в книжных лавках в поисках новинок...

Игрушки во времена нашего детства были очень редки и дороги, и Николенька был горазд до их изготовления. Очень он был изобретательным еще с детства: все что-то придумывал и сооружал. О том, где взять нужное для осуществления своих идей, никогда не задумывался. Мог и стул сломать, чтобы его ножку для чего-нибудь приспособить. И подсвечник дорогой покрушить молотком, и сестринскую шкатулку в расход пустить — ни перед чем не останавливался... И очень сердился и раздражался, если у него что-то не получалось. От родителей за те проделки он редко получал внушение, матушка ему вообще все прощала. Вот помню, был такой случай... Николаю уже лет двенадцать было. Задумал он на крыше дома ветряную мельницу соорудить, и ничегошеньки у него не получалось. Злился страшно. Меня совсем загонял: то слезть с крыши и что-то принести, то на чердак слазать за чем-то... Он уже в те времена был ловким и сильным мальчиком, а я, выросший в поварне возле пирогов и расстегаев, наоборот, упитанным и неуклюжим и тогда совсем забегался. Мы на этой крыше почти целый день просидели, пока батюшка строго не велел Николаю на землю слезть. Но на следующий день он все-таки эту мельницу доделал. Покрутилась она дня два, и он про нее забыл...

В наших играх, в бесконечных фантазиях Николеньки я неизменно отставал и даже плакал иногда с досады. Если я пытался его догнать, то непременно спотыкался и падал, если пробовал залезть за ним на дерево, на которое он взлетал без труда, обязательно с него сваливался и невольно вскрикивал от боли. Николенька безжалостно смеялся над моей неповоротливостью, но если я всерьез ушибался или моя ссадина покрывалась каплями крови, он пугался и сразу тащил меня к своим сестрицам. Девочки были очень добрыми. Они немедля начинали меня лечить и журить брата за неосторожные игры, обещая непременно рассказать о том родителям.

В общем, нашим приключениям в детские годы конца не было: мы то на речку за две версты от имения убежим без разрешения, то на крышу конюшни заберемся и провалимся прямо вниз, к счастью, угодив в большую копну сена, а не на головы лошадей... Одна наша история мне особенно запомнилась. Дело в том, что от старого заросшего пруда начиналась большая заболоченная низина, куда нам строго-настрого было за-

прешено ходить. Да разве Николеньке, матушкиному баловню (за то и простить ее не грех: сынок-то родился после двух старших дочерей), невозможно было что-то запретить! Случилось это ранней весной. Только-только сошел снег, и та болотистая низина угрожающе поблескивала застоявшейся наверху водой. Уж не помню, что понадобилось Николеньке на том болоте, только потащил он меня на другую сторону пруда, к старой березе, что стояла у самого его края. И мы, как и следовало ожидать, провалились. Собственно, провалился я один. Тоненький и ловкий Николенька благополучно проскочил на сухое место, а я увяз. И чем более и сильнее я пытался выпутаться из тянущих вниз болотных оков, тем более погружался в хлюпающую жижу. Николенька, стоя на сухом месте под березой, несколько времени наблюдал за мной, отпуская, как всегда, язвительные шуточки, но вскоре понял, что дело серьезное. Он стал осторожно пробираться обратно ко мне, протягивая навстречу руку... Помню даже сейчас его срывающийся от страха голосок, которым давал он мне приказания. Только до его руки я так и не дотянулся, а Николенька тоже провалился. Так мы и стояли рядом друг с другом довольно долго, вымешивая липкую болотистую грязь и увязая в нее все глубже и глубже. Нам обоим уже было по-настоящему страшно. Ума не приложу, как бы вся эта история закончилась, если бы не увидел нас проходящий мимо старый кузнец. Помню, что приспособил он для нашего спасения какую-то толстую жердину, и мы оба, оставив обувь в болоте, оказались на твердой почве босиком.

Барчука кузнец отнес на руках в господский дом, а я так и побежал в поварню босиком по ледяной земле. Каждый из нас, конечно, получил свою изрядную порцию назиданий от родителей, теперь уж чего вспоминать подробности!

Чем старше мы становились, тем более привязывались друг к другу. Родители Николая нашей дружбе не препятствовали, и ей не мешала наша совсем разная жизнь. Николай довольно быстро освоил немецкий язык и в присутствии своих родителей подолгу беседовал на самые разные темы с моим батюшкой. У сестриц его была гувернантка-француженка, и с грехом пополам кое-что по-французски он тоже умел. Он с удовольствием и интересом занимался с учителем, но четыре действия арифметики ему были уже скучны. Что до меня, то я постепенно входил во вкус приготовления всяческих блюд, мне нравилось, когда они у меня получались. Русскую кухню в доме Львовых любили, иногда выбор блюд на обед следующего дня подолгу обсуждался всем семейством: хозяин предпочитал жирные щи, хозяйка — суп с потрошками, барышни — что-то третье... Когда появлялись в доме редкие гости, мы вдвоем с батюшкой трудились от души, насколько хватало сил и умения. И все-таки, выросший на кулебяках и пампушках, с огромным искусством испеченных дядей Гансом, я отдавал предпочтение именно приготовлению выпечки. Став постарше, я даже начал переписываться с дядей, выпрашивая у него рецепты особенно получавшихся у него пирогов, тортов и печенья. И надо сказать, ему это было чрезвычайно лестно. Я до нынешних времен сохранил его письма с подробным описанием количества муки, яиц, сахара, корицы и всего прочего, входящего в состав его прекрасной выпечки.

Надо сказать, что батюшка Николая, Александр Петрович, до своей болезни не один раз возил его в Торжок, где у него еще со времен военной службы в прошлом был свой дом и всегда находились какие-то дела. Ездил он с дочерьми и сыном и в Москву, где их радостно встречал старик Соймонов, а в Петербурге они были не меньше трех раз. В столице они непременно останавливались у братьев Соймоновых. Принимали их всегда как самых дорогих и близких людей, а дядя Ганс всегда отправлял с ними в Черенчицы свои самые вкусные крендели и печенья.

Николай возвращался из этих вояжей необычайно возбужденный. И Москва ему очень нравилась, а про Петербург он вообще мог рассказывать часами. Я слушал его раскрыв рот. Представлял себе красивые прямые улицы этого сказочного города, бо-

гатые дворцы и фасады новых трехэтажных домов, сияющие купола церквей, широкую и полноводную Неву... Конечно, мне тоже хотелось там побывать, я часто об этом мечтал. А Петропавловская крепость, которую мне так живо описал Николенька, однажды мне даже приснилась.

Мы выросли, а родители наши, как и полагается, старели. Ранее всех начал прихварывать Александр Петрович. Все больше времени проводил он в своей спальне, все реже выходил к обеду, а после и вообще стали потчевать его в постели. Жена его, Прасковья Федоровна, очень горевала, да что тут поделаешь! Разные доктора приезжали к больному, все связи были пущены в ход, да только ничего не помогло — умер Александр Петрович, едва отметив свой пятидесятый год рождения. Было это в 1769 году.

Горе семейства трудно описать. Николай был очень привязан к отцу, почитал его. Очень он был в те дни обеспокоен здоровьем матушки. Но надо отдать ей должное, она держалась мужественно. Две дочери-невесты и сын, будущее которого они часто, как я знаю, обсуждали с мужем, — вот были ее главные заботы. Видимо, судьбу Николая они успели решить еще до болезни Александра Петровича, но, я думаю, матушка никак не могла решиться расстаться с любимым сыном и отправить его в незнакомый и далекий Петербург, где он был с детства приписан к Преображенскому полку... Прошло никак не меньше полугода после смерти Александра Петровича, когда проездом из Петербурга в Москву, куда он был назначен на новую должность, приехал в Черенчицы Михаил Федорович Соймонов. Посетив последний приют своего двоюродного брата, он уединился в гостиной с Прасковьей Федоровной... Долго-долго они совещались о чем-то, потом призвали Николая. И всем стало ясно, об чем у них было то совещание. Как потом я узнал, другу моему было объявлено материнское решение: он должен ехать в Петербург в Преображенский полк. Жить он будет в доме братьев Соймоновых, где и до нынешнего отъезда Михаила Федоровича в Москву места было предостаточно. Возражений по этому поводу у Николая не было никаких, он и сам все время о том думал, о чем мне говорил много раз... Но только высказал он матушке свою настойчивую просьбу, чтобы вместе с ним был отправлен в Петербург и я, близкий ему человек. Несмотря на свой юношеский возраст, я уже довольно искусен в кухонных делах и буду дяде своему первым помощником. Желание сына, конечно, было неожиданностью для матушки, но, посоветовавшись с Михаилом Федоровичем, она решила, что в просьбе Николая есть определенный резон, что он не будет на первых порах чувствовать себя совсем одиноким в огромном незнакомом городе... После этого было и моему батюшке объявлено это предложение, которое он тут же принял с готовностью и благодарностью. У дяди моего к этому времени появилось в Петербурге много подходящих знакомств и связей, коли тесно нам будет у одной печки в кухонном флигеле, так он найдет место, куда меня пристроить. На том и порешили.

Михаил Федорович отбыл в Москву в радостном ожидании встречи со своим старым отцом и сестрой, ну а мы с Николаем стали готовиться к скорому отъезду.

Собирались недолго. Прасковья Федоровна самолично руководила сборами любимого сына, напоминая ему то об одной забытой вещи, то о другой. Николай только посмеивался и отмахивался. Батюшка мой лишь беспокойно поглядывал на меня — приживусь ли в Петербурге, справлюсь ли с поварскими делами ...

Добравшись до Торжка, пересели мы в почтовую карету и в радостном возбуждении отправились в столицу. Дело было в сентябре, погода всю дорогу стояла ненастная, а по прибытии в Петербург вообще накрыло нас сильнейшим ливнем. Как ни выглядывали мы по сторонам, стараясь увидеть что-нибудь замечательное, но сквозь плотные струи дождя и сгущающиеся сумерки ничего не могли разглядеть. Наконец объявил нам ямщик, что мы прибыли по нужному адресу и находимся в центре Петер-

бурга, на Васильевском острове, на улице, что называется довольно странно — «Кадетской линией».

В доме Соймоновых нас ждали. Едва карета остановилась, как в ту же минуту выскочили из парадного под проливной дождь два молодых лакея и стали разгружать наши многочисленные сундуки и саквояжи. Николай расплатился с ямщиком, изрядно ему переплатив за услуги, и побежал в дом, а я следом за ним.

В вестибюле ожидал нас мой дядя, и тут же спустился по широкой лестнице и хозяин дома в шлафроке, за который немедля извинился. Обняв Николая, он повернулся ко мне. Из письма Прасковьи Федоровны он, конечно, был осведомлен о том, что Николай приедет не один. Не знаю, конечно, что она ему обо мне написала, но смотрел он на меня вполне приветливо.

— Позвольте, дядюшка, представить вам друга детства моего Карла Францевича Кальба... — произнес Николай.

Для меня такое представление хозяину дома было совсем неожиданным. Надо сказать, что всю нашу последующую жизнь, которую провели мы с Николаем бок о бок, он именно так и представлял меня своим новым знакомым и друзьям. Далеко не сразу они узнавали, что я всего-навсего повар, сын повара и белошвейки. Но к этой теме неоднократно придется мне обращаться в своих записках.

А Николай продолжал:

— Карлуша родился и провел свое детство в доме вашего батюшки в Тобольске. Впрочем, быть может, вы вспомните маленького немецкого мальчика — сына повара и белошвейки...

Юрий Федорович только кивнул в ответ. Разобравшись впопыхах со своими узлами и чемоданами, мы тут же разошлись. Юрий Федорович повел Николая в свои апартаменты, приказав подать туда разогретый ужин. Дядя Ганс тут же отдал лакею распоряжения по поводу блюд, что заранее были подняты в буфетную. Хоть и очень устал я с дороги, но, прислушавшись, понял, что еду эту там следовало сначала разогреть, потом сервировать и только затем подать в столовую. Лакей тут же бросился исполнять поручение, а дядя Ганс повлек меня в кухонный флигель, чтобы там накормить как следует. Он предложил мне сытный ужин, но на еду у меня уже не было сил. Не отказался я только от ароматного чая с любимыми дядюшкиными плюшками. Дядя Ганс показал мне мою комнату, здесь же, в кухонном флигеле. Нас с ним разделяла только тонкая перегородка, мы даже могли перестукиваться друг с другом. Комната оказалась мне очень большой, с двумя окнами, выходящими в небольшой парк за домом. Вместе с дядей и лакеем мы перетасили из вестибюля мои баулы и чемодан. Я кое-как вымыл руки и лицо под рукомойником, подвешенным в самом углу комнаты над тазом, скинул с себя грязную дорожную одежду, плюхнулся в чистую постель и мгновенно заснул под аккомпанемент непрекращающегося ливня за окнами.

Проснулся я довольно поздно. Разбудил меня луч неяркого осеннего солнца, бьющего мне прямо в глаза. Я вскочил с постели и бросился к чисто намытому окну. От вчерашнего ливня остались только огромные лужи среди парковых деревьев, которые уже заметно подсушили свою намокшую листву. Осень подкрасила ее в свои желтые тона, и небольшой сад, куда выходили окна моей комнаты, был очень красив. По небу неслись серые облака, но солнце упорно пробивалось сквозь них, обещая хороший день. Это потом я понял, что в Петербурге солнце — несчастный гость и его появлению не стоит слишком верить. А в тот момент я был просто счастлив тем, что столица приняла нас так приветливо.

Дядя Ганс уже всюду трудился на кухне, ему помогали две пожилые кухарки. Он снова радостно обнял меня и сказал, что Николай, в отличие от меня, вскочил ни свет ни заря, прибежал сюда, на кухню, чтобы напиться чаю, и сейчас в ожидании завтрака,

который назначен Юрием Федоровичем на десять часов, гуляет где-то рядом с домом. Я хотел было бежать искать его, но дядя меня не отпустил, пока я как следует не поем. К тому времени и десять часов пробило. Лакеи унесли завтрак наверх, в буфетную, а я нетерпеливо стал ждать, пока господа позавтракают.

Дядя очень хотел бы сразу посвятить меня во все кухонные дела и проблемы, но хорошо понимал, что пока я не осмотрюсь и не пойму, в какой город приехал и как славен Петербург, я ничего не смогу понять из его объяснений и буду чувствовать себя словно с завязанными глазами. С некоторым сожалением он отпустил меня на сегодняшний день. По его словам, Юрий Федорович обещал Николаю большую пешую прогулку по городу, а мой преданный друг попросил разрешения, чтобы и я составил им компанию. Как я довольно скоро понял, в семье Соймоновых не было привычки демонстрировать сословные различия. Юрий Федорович нисколько не удивился и возражать не стал.

Итак, мы наконец сошли с парадного крыльца. Здесь нас ждал добротный экипаж со щеголевато одетым молодым кучером. Но мы в него не сели — у Юрия Федоровича был для нас совсем другой план. Он подозвал кучера и дал ему строгое наставление, где и в какое время ждать нас в городе, чтобы мы могли без препятствий вернуться домой к обеду. Кучер покивал согласно и занялся своими лошадьми, а мы отправились в наше первое путешествие по городу, который стал на всю последующую жизнь для нас с Николаем дорогим и близким. Я не узнавал своего друга: он сиял, глаза выражали восторг и ожидание, он не мог спокойно идти рядом со своим дядей — все забегал вперед и заглядывал ему в лицо. Как я уже писал, мой новый хозяин получил архитектурное образование по гражданскому строительству и служил в Конторе строений под началом всесильного канцлера Бецкого. Об этом человеке я еще не раз буду писать, потому сейчас повременю. Юрий Федорович рассказывал нам о Петербурге с упоением. Оказалось, что столица расположена на многих больших и малых островах и что мы сейчас находимся на одном из самых главных — Васильевском. Петр Великий именно этот остров хотел сделать центром города, но с годами многое в его планах изменилось, и центр перемещался то в одну сторону, то в другую... По пути нашего следования по Васильевскому острову Юрий Федорович показывал нам такие большие и красивые дома важных особ, что было понятно, что знать селилась именно здесь и в последующие годы.

А теперь, мой дорогой читатель, представь себе, каким диким прибыл я в Петербург. Мне минуло восемнадцать лет — но кого я видел в Черенчицах? Слуг дворовых? За редкими гостями Львовых и то из кустов наблюдал, бывало, за пределы имения вообще никуда не отлучался. Правда, еще в раннем возрасте бегали мы с Николенькой к его дядям в соседнее имение, в двух верстах от Черенчиц. Но я обычно ждал своего друга в саду, пока он посещал своих родственников. А уж в отрочестве у каждого из нас были свои заботы, и я редко покидал поварню.

И вот такое деревенское чудо оказалось вдруг в российской столице! Вы хотя бы на минуту можете представить мое состояние?!

Дядя с племянником шли впереди, а я в нескольких шагах позади, стараясь быть деликатным, но не слишком отставать от них. Легко сказать — не отставать! Ведь меня все поражало! Я пялился сразу во все стороны, распахнув глаза и рот. Меня занимало все вокруг: и господа в экипажах, и слуги, спешившие по господским делам, и чиновники, которых я угадывал по особому напряженному взгляду и озабоченному виду... Я постоянно спотыкался, кого-то толкал и кому-то наступал на ногу. Извинялся и пускался догонять ушедших далеко вперед Юрия Федоровича и Николая. Один раз я страшно испугался, поскольку совсем потерял их из виду... Помню, как вышли мы наконец на берег Невы и вдруг оказались словно посреди гигантской стройки. Я никогда

в жизни не видел такой толпы простонародья. Повсюду со всех сторон стучали молотки, гремели кувалды, скрипели цепи и звенели пилы. На набережных рабочие разгружали десятки прибывших в город барок и плотов. Огромные трюмы были распахнуты, и даже отсюда, с набережной, я видел, что из них выгружают множество крупной, блестящей чешуей рыбы. Все пространство Невы было буквально забито многочисленными парусными судами, лодками, плотами, барками, гребными катерами, до бортов загруженными строительными материалами.

Соймонов объяснил нам, что город сейчас снабжается, как Лондон и Амстердам, — водным путем, что в день в Петербург прибывает иногда более пяти тысяч барок и столько же плотов, что все они теснятся в городских каналах и протоках.

Я теперь боялся слишком отставать. Николай же не умолкал ни на минуту — все спрашивал о чем-то своего дядюшку, услышав ответ, вопил радостно, как ребенок, и выражал свой восторг самым нелепым образом.

— Ты слышишь, Карл? Ты слышишь?!

И сильно хлопал меня по плечу и хватал за локоть.

Я, конечно, все слышал, но не все тогда понимал.

А Николай уже снова тормозил Юрия Федоровича.

— Дядюшка, а это что за здание? Почему Двенадцати коллегий?

И Юрий Федорович терпеливо ему объяснял, что в этих двенадцати коллегиях находятся главные административные учреждения России.

— Ты слышишь, Карлуша?! В этом здании решается вся судьба нашего государства!

И опять преобильно хлопал меня по плечу.

Мне пришлось все время перебегать от него то на одну сторону, то на другую: иначе я точно лишился бы одной руки.

Но честно говоря, здание Двенадцати коллегий меня тогда мало занимало: я не сводил глаз со сверкающего шпиля Петропавловской крепости, которая снилась мне еще в годы отрочества в Черенчицах.

На противоположном берегу реки мы увидели значительную часть новой набережной, одетой в пестрые коричневые каменные плиты. Камень этот Юрий Федорович называл гранитом... У самой кромки воды сгрудились какие-то рабочие — наш провожатый объяснил, что это гранитчики, обладающие большим умением в своем ремесле, они устанавливают эти красивые каменные плиты вдоль берега Невы...

А слева от Адмиралтейства, о котором тоже последовал подробный рассказ нашего руководителя, стоял новый Зимний дворец. Я вообще никогда в жизни не видел больших зданий — а тут такое мощное, нарядное, с огромными окнами и с обилием скульптур наверху... Я даже не понял поначалу, что это за фигуры стоят по краю крыши. Николай объяснил мне, что это — статуи... Статуи! Я в первый раз услышал тогда это слово.

Не спеша шли мы вниз по течению реки к плашкоутному мосту, чтобы перейти на Адмиралтейскую сторону. И пока мы проходили по мосту, нас все догоняли и обгоняли телеги и повозки, громыхали тяжелые подводы, груженные всем, что необходимо для строительства: бревнами, досками, какими-то булыжниками, цепями и бочками с гвоздями и канатами...

Наконец вышли мы на берег у здания Сената. Площадь возле него была совсем небольшой, свободной и, казалось, только ждала своей очереди, чтобы загромыхать так же, как шумела река. И мы не ошиблись.

— Вот здесь, на этом месте, — сказал Юрий Федорович, — императрица повелела установить величественный монумент Петру Великому...

— Это тот самый, который создает знаменитый французский ваятель? Я забыл его фамилию...

Я с удивлением взглянул на своего друга: как всегда, Николай знал больше меня.

— Его фамилия Фальконе, — кивнул дядя. — У нас его на русский манер зовут Фальконетом... Профессором Фальконетом.

— И вы с ним знакомы, дядюшка?

— Ну, мое знакомство с ним довольно шапочное: при встрече раскланиваемся, но не более того. Я все-таки в Конторе строений служу, вот там и встречаемся изредка.

— И вы никак не можете меня ему представить?

Юрий Федорович засмеялся.

— Не спеши, мой друг. Фальконет, хоть и прожил здесь три года, по-русски не понимает или делает вид, что не понимает. Ну а ты, дружок, насколько мне ведомо, по-французски у сестринской гувернантки обучался, опозориться можешь. Так что надо тебе знакомство с Фальконетом начать с изучения этого языка коварного, без него в Петербурге сейчас никуда.

Я опять покосился на друга. Он нисколько не обиделся.

— Я этот язык, чтоб его, выучу скоро! Вот увидите — очень даже скоро...

Юрий Федорович обнял его за плечи.

— Я в том нисколько не сомневаюсь, уверен, что так и будет. А для того чтобы обучение твое шло активно, скажу, что весной Фальконет будет представлять на суд императрицы так называемую большую модель своего монумента в полном объеме. Эта модель должна будет апробована не только государыней, но и показана всей публике. Вот тогда и мы будущий монумент увидим и найдем повод с Фальконетом поговорить, если ты готов к тому будешь.

— Буду! — сверкнув глазами, упрямо произнес мой друг.

Я-то знал, что значит этот металлический блеск его глаз.

Юрий Федорович поведал нам историю гигантского гром-камня для подножия будущего монумента. С огромными усилиями, благодаря какой-то чудо-механике был он вытащен из лесной чащи и болот и теперь ждет у какой-то пристани на Финском заливе, откуда будет переправлен по воде на эту площадь. Но для того чтобы доставить его сюда, надобно построить специальное устойчивое судно, а это требует большого умения кораблестроителей и времени.

Николай очень заинтересовался этой механикой, благодаря которой гигантский камень из болота вытащили, дядюшка обещал ему все подробно изобразить на бумаге.

Впервые тогда услышал я фамилию знаменитого каменщика и гранитчика Вишнякова. Услышал ее — и тут же забыл! Разве мог я представить, что пройдет немало лет, и фамилия эта в моей судьбе сыграет такую решающую роль. Но я запомнил, что именно этот гранитчик нашел для подножия Фальконетова монумента гигантскую скалу. Этот талантливый человек был хорошо знаком петербургским инженерам, поскольку именно артель, которой он руководил, облицовывала гранитом набережные Невы и городских каналов. Именно его люди осенью умудрились погрузить эту фантастическую тяжесть на построенное судно, чтобы переправить скалу в Петербург. Тогда из этого рассказа я мало что понял, а еще меньше запомнил. Вспомнил я о Семене Вишнякове и узнал его историю в мельчайших подробностях почти десять лет спустя.

А тем временем я внимательно оглядывал площадь, изо всех сил пытаюсь представить, каких размеров должен быть этот будущий монумент, который Юрий Федорович назвал «величественным». Все свободное пространство передо мной с двух сторон было словно зажато старым зданием Сената, земляным валом и каналом, окружавшими Адмиралтейство. Каким образом будет он здесь втиснут, я не мог даже вообразить.

Не успев прийти в себя от долгой дороги из Торжка, мы с Николаем скоро устали от пешей прогулки и ярких впечатлений от столицы. Соймоновский кучер ждал нас

у здания Сената, мы очень ему обрадовались, уселись в экипаж и отправились обратно на Васильевский остров, где Юрия Федоровича ждала к обеду молодая супруга.

Так началась наша долгая петербургская жизнь.

На следующее утро я проснулся от громкого стука тяжелых капель осеннего дождя по подоконнику. Небо было сплошь затянуто серыми тучами, словно и не было вчерашнего солнечного дня. Петербург открыл нам свое окно, чтобы мы успели полюбоваться им, и снова плотно захлопнул, закрыв город плотными шторами осенних туч.

Наступили будни нашей жизни в столице. Николай после завтрака отправился в Преображенский полк в дядюшкином экипаже. Я проводил его до парадных дверей. Он заметно волновался и не пытался этого скрыть.

— Ну вот, Карлуша... Начинается новая жизнь. Совсем новая. И что меня ждет — одному Богу известно...

— Вечером после ужина ты непременно зайди ко мне, — покачал я головой. — Расскажешь что и как...

— Это обязательно. У меня сейчас нет человека ближе, чем ты...

Мы обнялись. Николай исчез за тяжелой дверью, которую швейцар осторожно открыл за ним. Я поспешил на кухню, чтобы приступить к своим обязанностям, встав к плите рядом с дядей Гансом. Но войдя в кухню, я потерял дар речи. У меня глаза разбежались от изобилия всего, что я там увидел. Увидел я несметное количество медных и железных котлов: семиведерных, четырехведерных, в одно ведро, в полведра, а также горшки для небольшого количества еды. На полках стояли аккуратно сложенные друг на друга медные и железные сковороды, с ручками и без оных. Первый раз в жизни я лицезрел различные соусницы, салатницы, медные формы для желе и пудингов, для разных пирожных. Высокой стопкой стояли сложенные друг на друга корзины для хлеба из папье-маше, на полках и стеллажах блестели начищенные кофейницы и шоколадницы. Не позднее следующего утра я уже знал, что в господский дом из кухонного флигеля жидкую пищу носили в кастрюлях, так называемых рассольниках с крышками, в супницах, бульонницах, твердую — на блюдах разных размеров и форм. Названия они имели соответственные: «гусиное», «лебяжье» и прочие... Поварня в доме Соймоновых была, по моим представлениям, огромной. В доме у Львовых все было просто: и поварня небольшая, честно говоря, даже тесноватая, и посуда для приготовления пищи довольно неказистая, и котлы не отличались разнообразием. А здесь прежде всего меня поразила прекрасная металлическая плита, вымытая и отполированная. Я был просто потрясен: такой красоты я в жизни не видел! Все вокруг блистало чистотой. От дяди Ганса я впервые услышал слово «кухня», которое навсегда сменило в моем словаре «поварню». Оно было немецкого происхождения и потому легко запомнилось. Конечно, когда мое кондитерское искусство стало известно в Петербурге и меня начали приглашать для временной работы в дома знатных господ, мне много раз случалось работать на кухнях куда более богатых, значительно больших объемов и размеров, с огромным количеством утвари и разнообразных кухонных приспособлений. Но в тот момент я чувствовал себя словно в пещере Али-Бабы. Дядя Ганс довольно засмеялся моему восторгу. Дядя объяснил мне все устройство кухонного предприятия и как пользоваться голландской плитой, которую я видел первый раз в жизни. В поварне Черенчиц, как и во всей провинции, пищу готовили в русской печи, а здесь мне надо было освоить плиту с открытым огнем и духовками. Впрочем, я справился с этой задачей довольно скоро. Мы с дядей сразу договорились, что друг другу мешать не будем, вокруг одной кастрюли суетиться вдвоем нет никакого смысла. Я убедил его, чтобы мы разделили обязанности: он будет заниматься, как и прежде, приготовлением закусок, первых и вторых блюд при помощи своих кухарок, а я под его руководством начну по-настоящему осваивать приготовление выпечки и десертов.

Я тут же получил необходимые сведения по поводу вкусов нашего хозяина. Любой суп на его обеденном столе должен был непременно сочетаться с пирожками и кулебяками — это для меня было не страшно, я наловчился искусно выпекать их в Черенчицах.

Еще в Тобольске, в раннем детстве, в доме отца-губернатора полюбил Юрий Федорович немецкую кухню, изготовлением блюд которой так славились в те годы мой дед и оба его сына. Ну, а более всего наш хозяин обожал знаменитый немецкий пирог баумкухен. Для тех немногих, кто не знаком с этой выпечкой, вкратце объясню. Это особый вид пирога или торта, кому как нравится его называть, когда специальный деревянный валик обмакивается в жидкое сдобное тесто, поджаривается на огне и снова обмакивается в тесто... И так несколько раз. Именно потому торт этот на разрезе напоминает срез дерева, отсюда и его название — «баум», что значит по-немецки «дерево».

Вот с этого пирога и началась моя петербургская школа кондитера. Теперь, когда у меня знаменитый в Петербурге ресторан, где помимо немецкой выпечки в изобилии есть и французская, и итальянская, и греческая, и русская, я с улыбкой вспоминаю свои первые шаги на этом поприще... Нынче, конечно, я сам у плиты не стою: у меня служит достаточное число прекрасных специалистов нашего дела, начиная с Никиты Иваныча, попавшего в мой дом еще мальчишкой, Никиткой. А руководит этой дружной кухонной артелью не кто иной, как мой сын Николай, который нисколько не уступает мне в профессиональном умении. Впрочем, за работой кондитеров и поваров я слежу сам по-прежнему зорко: и любой совет дам, и новый рецепт придумаю — только бы мой ресторан не потерял авторитет и уважение у самых взыскательных и требовательных петербуржцев...

Первый день на кухне пролетел совсем незаметно. У нашего хозяина в тот вечер были гости, и пирожки, приготовленные мной, тут же были направлены к столу. А первый мой баумкухен поспел как раз к чаю. Он получился на славу. Дядя Ганс хоть и руководил при его изготовлении, но меня нахваливал — мы оба были довольны. Но я все поглядывал в окно, ожидая возвращения Николая. Очень беспокоился, как у него сложился первый день. Когда за окном уже совсем стемнело, я услышал, как подъехал соймоновский экипаж. Закончив дела в кухне, я поспешил в свою комнату и с нетерпением стал ожидать друга.

Он пришел не скоро, выглядел усталым, но еле сдерживал возбуждение.

— Знаешь ли, Карлуша, дядюшка никак не желал меня от ужина отпустить. Очень ему хотелось представить меня всем своим гостям. Ну, а я и половины лиц не запомнил, все про свое думал... Едва все начали расходиться, я тут же к тебе побежал...

— Ну рассказывай, что в полку? Да сядь ты наконец, что ты все по комнате ходишь!

Николай плюхнулся в глубокое кресло и тут же начал говорить:

— Ну, в полку как в полку. Меня к бомбардирской роте приписали. Но самое главное знаешь что? — Николай помолчал и радостно выпалил: — В полку только что школа открылась! Самая настоящая школа, ты представляешь?

— Школа? — только и смог я повторить, ничего не понимая.

— Ну, начну сначала... Именно школа. Вот для таких бестолковых неучей, как я... Ведь офицеры должны быть образованными и грамотными людьми. Взял полковник мою челобитную, прочитал, крикнул, хмыкнул — видать, наделал я в ней ошибок немало, не подумал прежде дать дядюшке прочитать... Вот он и спрашивает, где я учился... А мне и ответить ему нечего, пробормотал что-то себе под нос. Полковник только и сказал: «В школу!» Тут же зачислили меня в специальную кадетскую роту, снабдили аспидной доскою и грифелем и отвели в помещение, где обучались сложению подобные мне недоросли. Так что, Карлуша, начинаю я образовываться.

Я слушал и в себя прийти не мог. И даже кое в чем завидовал другу. А он все рассказывал и рассказывал. И никак не мог остановиться.

Помимо российской грамматики будущие офицеры в школе будут изучать математику, артиллерию, фортификацию, географию, рисование, фехтование, французский и немецкий языки и «прочие приличные званию их науки». Как после выяснилось, преподавание языков было поставлено в полковой школе настолько серьезно, что некоторые молодые люди, овладевшие ими в совершенстве, могли потом служить в Коллегии иностранных дел, как и мой незабвенный друг.

Что касается немецкого языка, то тут у Николая беспокойства не было. Благодаря моим родителям, да и мне говорил он на нем довольно бойко. Надо было заняться всерьез только немецкой грамматикой. Она ведь у нас, немцев, не проще, чем русская. А вот с французским языком предстояло немало потрудиться. Несколько слов, перехваченных в Черенчицах у гувернантки, в изучении языка погоды не делали. И тут Николай неожиданно предложил:

— Ты, Карлуша, в изучении французского языка должен мне стать первым помощником!

Я на него глаза вытарашил.

— Это каким же образом?

— Очень простым... Мы будем вместе заниматься. Язык хитрый в произношении, себя-то не услышишь, надо, чтобы все время кто-то поправлял, если что неправильно. Я буду тебя слушать, а ты меня... На занятиях я буду очень стараться запоминать правильное произношение слов. Слух у меня, ты знаешь, великолепный. Если ты будешь что-то неточно произносить — я сразу услышу и тебя поправлю, и сам запомню. Это и для тебя не просто развлечение будет: в Петербурге все лакеи скоро будут по-французски разговаривать. А у тебя должность такая, что в любой момент могут к господам вызвать. Вот нынче дядюшкины гости нет-нет да и переходили на этот язык. Я изо всех сил притворялся, что понимаю, о чем они рассуждают. Дядюшка на меня посмотрит многозначительно и, сдерживая улыбку, отвернется. Честно говоря, стыдно мне было.

Так мы и порешили: своими офицерскими науками Николай будет с превеликим усердием заниматься в одиночестве, а по вечерам являться ко мне для занятий французским.

Дядя Ганс сообщил мне, что еще до моего приезда был у них с хозяином договор. Поскольку мой дядя и без моей помощи прекрасно справлялся на кухне много лет, меня в дом приняли на определенных условиях, которые заключались в следующем: в течение года дядюшка будет меня обучать тонкостям кондитерского искусства и одновременно искать мне место в приличном доме для самостоятельной работы. Тут, конечно, многое будет зависеть от моего усердия. Я это прекрасно понимал и очень старался как можно скорее постичь все тонкости кухонной науки, всерьез готовил себя к самостоятельной работе в незнакомом доме. Не грех и похвалиться: успехи мои на этом поприще вскоре стали весьма заметны, что не раз отмечал и Юрий Федорович, и самый строгий мой критик — дядя Ганс.

Конечно, немалую роль в добром ко мне расположении Юрия Федоровича играло то, что ко мне был привязан Николай, что вырос я в доме его родителя в Тобольске и что знал он меня с раннего детства. Жена его в хозяйственные дела мужа не вмешивалась и, как мне сказал дядя Ганс, отнеслась к моему пребыванию на кухне безразлично. Впрочем, она была в положении, и заботы о собственном здоровье, видимо, занимали ее значительно сильнее, чем появление в кухонном флигеле еще одного повара. Что касается французского языка, то к весне мы с Николаем объяснялись на нем довольно сносно. Я в те годы французскую грамматику не учил, все воспринимал на слух, по наитию усваивал... Ну а Николай и немецкий язык во всех тонкостях познавал, и французским всерьез занимался. А к лету вообще решил за итальянский взяться...

Французский язык, даже на том уровне, который я тогда постиг, мне и в самом деле оказался весьма полезен. В те годы Париж для России стал законодателем мод. Николай оказался прав: из Франции выписывали не только поваров и кондитеров, но даже лакеев. Но и немецкая и русская кухни со столов господ не исчезали, и в большинстве домов блюда и вина были преимущественно французскими. Дядя Ганс за время жизни в Петербурге стал большим знатоком среди именитых столичных поваров. Он мне с гордостью рассказывал, что друзья и знакомые много раз уговаривали братьев Соимоновых уступить им своего повара, но те в ответ только вежливо улыбались и не соглашались ни за какие деньги, которые им предлагали. Дядя мой был частым помощником на кухнях их друзей, когда в домах намечался большой съезд гостей по случаю каких-то важных семейных событий — будь то свадьба или похороны, и местные кулинары не справлялись с нагрузкой. И потому был он в центре всех кухонных событий того времени. С восхищением и священным трепетом слушал я его рассказы о застольных ритуалах, которые мне были до сих пор неведомы. Особенно изощряются нынче именно кондитеры: традиционные русские ватрушки, калачи и бублики, подаваемые прежде к чаю, заменяются нынче пирожными, бланманже, муссами и желе...

На столы выставляются сложнейшие многоярусные торты из марципанов и бланманже, сооружаются целые античные храмы из ванильного мороженого и марципановой мастики. Дядя Ганс довольно комично, но и не без профессионального уважения рассказывал мне в подробностях, как повара-французы изо всех сил стараются поразить всех своим искусством.

Я в ужас пришел от этих рассказов, почувствовав свою беспомощность в деле, в котором считал себя специалистом.

— Дядюшка, — взмолился я, — вы тоже умеете сооружать античные храмы и замки? Вы меня научите этому?

Дядя Ганс только грустно улыбнулся в ответ.

— Что ты, друг мой! Тут я так же бессилен, как и ты. Для того чтобы такие дворцы на обеденном столе сооружать, иноземные кондитеры не только рисованию и черчению обучались, но даже архитектуре. Куда мне до них! Я себя успокаиваю тем, что по блюдам немецкой и русской кухни меня сложно перещеголять. В Петербурге по этой части осталось не так много умельцев, один из них перед тобой. Хотя иностранцы изо всех сил стараются нас, здешних, и в этом искусстве обогнать: изобретают такие фантастические закуски, что гости потеют и пыhtят, стараясь правильно выговорить их названия. Чем шире у гостей распахиваются глаза и вытягиваются физиономии, тем счастливее чувствуют себя хозяева. Учти, нынче именно кухня стоит на первом месте в богатых домах, а не роскошь и убранство, как было раньше. Такие званые обеды называют нынче «артистическими» или «гастрономическими», а хозяев при том зовут «гастрономами». Ты не поверишь, но именно хозяин-гастроном — главный составитель и выдумщик блюд для застолья в своем доме. А женщины, между прочим, к этому ритуалу не допускаются, они служат только для украшения вечера. Но ты не расстраивайся: твои пирожки да баумкухен всех гостей просто в восторг привели. А захочешь нынешним кондитерским фокусам научиться — тебе, как говорится, и карты в руки. Учись.

Я чувствовал, какая ответственность ложится на мои плечи, и обучался кухонному искусству с большим прилежанием.

В неустанных трудах и прошла первая зима в Петербурге. Что сказать вам, любезный читатель, о своем друге? Он словно решил догнать все, что не смог получить в отрочестве и в ранней юности. Мне иногда казалось, что он хочет обогнать время. Николай приходил ко мне усталый от занятий, но неизменно возбужденный. Более всего интересовала его математика, но помню однажды и такой эпизод.

Мы хорошо позанимались с ним французским и разошлись за полночь. Не могу сказать, что мне так уж легко давались поздние бдения. Юрий Федорович слыл человеком хлебосольным, его дом частенько был полон гостей, и на кухне дел хватало и для меня, и для дяди Ганса. Навертевшись у плиты и отдав последние силы занятиям французским — Николай меня совсем не щадил (как и себя, впрочем), — я замертво валялся в постель. Но в ту ночь почему-то никак не мог заснуть — слишком устал. А может быть, беспокоила петербургская погода — я долго не мог к ней привыкнуть. За окном стояла непроницаемая мгла, валил истинно питерский мокрый снег и звонко при том стучал по подоконнику. Именно поэтому я не сразу услышал осторожный стук в дверь. Вам-то известно, любезный читатель, что иностранных поваров — свободных людей — в господских домах уважают и хозяева, и слуги. Это относилось и ко мне, тем более что еду для людской готовил я, нисколько не уменьшая своего усердия при этом. Я удивился, встал и, накинув халат, распахнул дверь.

На пороге стоял заспанный лакей. Извиняющимся тоном он сообщил мне, что Николай Александрович не спят, занимаются и очень просят меня прислать ему чаю и каких-нибудь пирожков или ватрушек. Я отпустил слугу, сказав, что принесу все сам.

Быстро одевшись, я спустился в кухню. Еще теплый чайник быстро закипел. Я накрыл поднос и пошел к Николаю. Кое-как постучался, поскольку руки были заняты, и он тотчас же распахнул дверь и очень обрадовался, увидев меня. Мне бросился в глаза его письменный стол, на котором вместо скатерти была расстелена огромная географическая карта. Поверх нее стоял большой глобус и лежал раскрытый, совсем новый атлас.

Поднос ставить было некуда, мы сдвинули стулья. Я расстелил на них полотенце, поставил чашки (ничтоже сумняшеся, я взял с собой две штуки) и приготовил все для чаепития. Николай жадно проглотил пару пирожков, выпил чаю, бросив в него приличный кусок сахара, и вскочил с места так, словно это была не глухая ночь, а самый расцвет дня. Быстро ополоснув руки под ручкой, насухо их вытер и потащил меня к столу. И, ткнув пальцем в нужное место на карте, пояснил:

— Вот смотри, Карлуша, вот мы где находимся... Здесь Петербург... А вот здесь — Москва... А тут — Торжок... А вот это все на карте — вся наша Россия...

Я изо всех сил старался понять то, что он мне показывал и объяснял. Не сразу представил себе, что такое масштаб, а когда Николай начал вертеть передо мной огромный глобус, который я вообще видел в первый раз в жизни, в моем мозгу тоже все завертелось. Он взглянул на меня, засмеялся.

— Ладно, дружок, ступай почивать... Я тебя сегодня совсем замучил. Я так тороплюсь, в школе-то занятия только на восемь месяцев рассчитаны.

— Всего-то? — удивился я.

— Вот именно. Только до мая. А после будут занятия на плацу. Ты представляешь меня марширующим? Ну, еще будут занятия по верховой езде и прочие пустяки. А потом еще два года надо отслужить, без того из армии не уволиться. Потому мне и нужно за эти восемь месяцев узнать как можно больше и постараться стать более или менее образованным человеком. Я хочу многое сделать в жизни... Кабы только успеть!

Эх, знал бы мой незабвенный друг, как мало ему отпущено в этой жизни! Но успел он действительно очень много. Фантастически много для одного человека.

Миновало Рождество, и начал, набирая скорость, прибавляться день. Позднее стали зажигаться масляные фонари на улицах и канделябры в богатых домах. Весна вошла в Петербург все увереннее. Мокрый зимний снег сменился затяжными дождями, иногда даря жителям столицы неожиданные солнечные дни. Май подступал все ближе. Все нетерпеливее ждал его мой друг. Вы забыли, мой читатель? Ведь именно в мае большую модель своего будущего монумента должен был выставлять на суд импера-

трицы и горожан французский скульптор Фальконет. Николай о ваятеле не забывал ни на минуту. Так же, как и я, и как большинство петербуржцев, он никогда не видел даже самых малых памятников, не говоря о таком огромном, который создает этот художник. Надо сказать, что за прошедшую зиму дела Конторы строений несколько сблизили Соймонова и Фальконета. Юрий Федорович теперь частенько бывал в портретолитейном доме, найдя, видимо, общий язык с этим непростым человеком. От дядюшки узнавал Николай о том, как движется работа по подготовке большой модели, какие сложности, какие проблемы возникают при этом, как талантлива ученица скульптора мадемуазель Коло, оказывается, именно она вылепила голову Петра, которая Фальконету почему-то никак не удавалась. И, конечно, именно я был после этих разговоров с Юрием Федоровичем первым слушателем своего друга. От него узнал я, что гениальный скульптор Фальконет — человек вздорный, желчный, раздражительный, что перессорился он со всем Петербургом, но самые тяжелые отношения у него сложились с самим канцлером Бецким, директором Конторы строений.

А Бецкой в то время был вторым человеком после императрицы. Он знатный вельможа, богатый, образованный, а Фальконет происходит из простолюдинов, любит повторять, что он сын столяра и внук башмачника, чем в нашей чванливой столице гордиться не пристало... Вот они, как говорится, и «скрестили шпаги». Я, конечно, не судья ни тому, ни другому, и в том конфликте не мне, кухонному работнику, разбираться. Но, как я понимаю, Бецкой, отвечая за все строительство зданий и сооружений не только в Петербурге и в Москве, но и по всей России, не без оснований считал себя самым главным человеком в этих вопросах. А Фальконет привык во Франции работать как художник совершенно свободно, без всяких ограничений, принимать самостоятельно решения, какой быть скульптуре или тому же монументу, и приходил в ярость, когда Бецкой навязывал ему какие-то свои идеи. Никто иной не мог быть им судьей, кроме императрицы. Как рассказывал Юрий Федорович, со слов близких ко двору людей, она приняла Фальконета поначалу весьма любезно, поскольку был он рекомендован ей лично Дидеротом, бывшим с ним в большой дружбе. Ну, а после государыня стала только переписываться с ним весьма короткими фразами, отшучивалась небрежно, совершенно не вникая в ссоры двух гигантов: она была занята совсем другими делами: то чума в Москве, то война со шведами, то пугачевский бунт... Да и бесконечное нытье и жалобы скульптора, видимо, ей изрядно надоели. По городу ходила ее любимая поговорка, которую она говаривала в подобных случаях: «Не прав медведь, что корову съел, но не права и корова, что в лес забрела». Но, так или иначе, большая модель монумента наконец была готова.

Однажды поздним вечером Николай буквально ворвался ко мне в комнату. В руках он держал газету «Петербургские ведомости», победно размахивая ею над головой.

— Смотри, Карлуша, что здесь написано! — и прочитал внятно, выделяя каждое слово: — «Девятнадцатого мая с одиннадцати часов до двух и после обеда с шести до восьми часов вечера и впредь две недели показываема будет модель монумента Петру Великому...»

Капризный и вздорный характер Фальконета нисколько не смущал Николая: он по-прежнему бредил знакомством с ним. Надо знать, что мой друг обладал удивительным качеством привлекать к себе людей. В молодости, кто бы ни познакомился с ним, непременно попадал под его обаяние и старался держаться к нему поближе. А уж если сам Николай угадывал в новом знакомце человека неординарного, талантливого в чем бы то ни было, тот сразу и на долгие годы попадал в круг его самых близких друзей. Такой уж был Николай Александрович Львов.

Мы не сразу отправились на осмотр большой модели: были неотложные дела и у Юрия Федоровича, и у Николая проходили экзамены в полковой школе. Что до меня, то мы с дядей Гансом заранее договорились, что я отправлюсь в портретолитей-

ную мастерскую Фальконета только вместе с ними. Юрий Федорович нисколько не возражал против моей компании, а Николай только и строил планы о том, как мы вместе посетим мастерскую ваятеля. Дядя Ганс не меньше нашего мечтал увидеть модель будущей статуи и собирался непременно посетить показ, только несколько позднее, вместе со своими многочисленными друзьями. А я в это время должен буду заменить его на кухне.

Наконец мы сели в соймоновский экипаж и поехали туда, куда стремился в последние дни весь город. Петербург буквально бурлил впечатлениями — кто-то ругал невезучего скульптора, кто-то возносил его до небес, но нам нужно было иметь собственное мнение, и Николай не слишком доверял отзывам своих знакомых. Нас ждало немало препятствий еще при подъезде к портретолитейному дому. Все ближайшие переулки и улицы были буквально забиты колясками и экипажами. Какой-то знатный вельможа попытался подъехать с шестерней лошадей цугом, но сколько его фореиторы ни кричали знаменитое «Пади! Пади!», разгоняя народ, на их истощные вопли никто не обращал внимания. Вельможа, ругаясь, с трудом выполз из огромной кареты с восемью гранеными стеклами на окошках, задернутых бархатными занавесками. Вслед за ним буквально выпала на руки лакея, соскочившего с запяток кареты, видимо, его жена.

Крепко вцепившись друг в друга, они стали протискиваться сквозь строй карет и экипажей. Зрелище было преуморительное, и Николай еле сдерживал смех. Нам тоже оказалось непросто пробиться к дверям мастерской. Но мы не только пробились, мы даже смогли втиснуться в узкие двери, пропустив большую группу выходящих зрителей. А в мастерской неожиданно оказалось достаточно свободно, только душно, несмотря на прохладу майского пасмурного дня. Мы вошли и остолбенели. Прямо перед нашими глазами верхом на коне восседал огромный император Петр. Одет он был совсем неожиданно — в римскую тогу. Коня я сразу не разглядел, но после, отойдя подальше в глубь мастерской, понял, как великолепно, как точно он вылеплен. Увиденное так потрясло нас с Николаем, что мы замерли в неподвижности, не в силах отвести глаз. Нас толкали то спереди, то сзади, но мы стояли и смотрели, пока Юрий Федорович не указал нам одними глазами на ничем не примечательного человека, стоящего совсем рядом с нами в самом темном углу мастерской.

— Это Фальконет...

Я незаметно покосился, пытаясь рассмотреть скульптора. Он был невысокого роста, довольно неказист, выглядел не праздничным, а довольно подавленным, что меня очень удивило.

— Дядюшка! — взмолился Николай. — Вы обещали меня представить...

— Ну, что же... — подумав мгновение, произнес Юрий Федорович. — Подойдем к нему... Но ты видишь — он не в духе... Не огорчайся, ежели что...

Они подошли к ваятелю. Я, конечно, остался в стороне, но достаточно близко, чтобы слышать их разговор. Говорили они по-французски, я, быть может, и не блистал произношением, но речь на этом языке понимал достаточно хорошо.

Фальконет несказанно обрадовался Соймонову, который тут же представил ему своего племянника. Ваятель только слегка кивнул Николаю, сиявшему обаятельной улыбкой, и тут же начал жаловаться Юрию Федоровичу, едва сдерживая слезы...

— Мсье Соймонов, вы представить не можете, что мне приходится сейчас выдерживать!

— Что случилось, дорогой профессор Фальконет?

— Никогда меня не жаловали дураки с подлецами... Я не сказывал вам при последней встрече, какую бумагу мне прислал Бецкой? Он велел статую расположить

так, чтобы один глаз императора зрил на Адмиралтейство, а другой — на здание Двенадцати коллегий...

Дядя с племянником не выдержали и рассмеялись.

— Насколько мне известно, царь косоглазием не страдал... — покачал головой Юрий Федорович. — Это Иван Иванович неудачно свою мысль выразил...

— Но это еще не все... — всхлипнул несчастный Фальконет. — Мне вчера пришлось такую безобразную сцену выдержать... Здесь накануне был некто Яковлев, я даже не представляю, кто он таков... Он произнес такую мерзкую речь перед всеми зрителями, которые были тогда в мастерской... Нет таких гадостей, которых бы он не наговорил про статую. И головной убор у императора не тот, и усы, которые тот носил всю жизнь, не нужны вовсе... Он говорил, что мою работу поносят во всех петербургских домах и что меня спасает только покровительство императрицы...

— Я знаю этого Яковлева... — сердито произнес Николай. — Это известный негодяй, в Петербурге его зовут «Мсье Скандал». Где бы он ни появился — везде возникают какие-то мерзкие истории... Это человек до того презренный, что недавно был выключен со службы. Он не стоит вашего внимания, профессор Фальконет. Статуя великолепна. Она просто поражает своим величием и красотой!

— Успокойтесь, мой дорогой... — подхватил Юрий Федорович. — Что для вас мнение какого-то невежды! Наши общие друзья в Академии художеств очень высоко оценили вашу работу. А ваш любимец художник Дмитрий Левицкий говорил, что он так был потрясен зрелищем монумента, что несколько ночей спать не мог...

Лицо Фальконета просветлело. Поняв, что на душе у скульптора полегчало, я отошел в глубину мастерской, чтобы получше оглядеть монумент. Я только простой обыватель и судить о скульптуре не имею никакого права. Вы, любезный мой читатель, можете лицедрезать ее каждодневно и иметь собственное мнение по ее поводу. Ну, а в тот момент мне, как человеку любознательному от природы, очень хотелось узнать мнение зрителей, которые, как и я, впервые разглядывали будущий монумент, обходя его по кругу. Но мне, видимо, очень не повезло, поскольку слышал я вокруг разговоры, далекие от искусства. Очевидно, персоны эти посетили демонстрацию большой модели монумента больше из любопытства или даже из моды...

— Я, матушка, сколько раз говаривал тебе, что нельзя с утра столько жирного кушать! — доносилось до меня с одной стороны. — Оттого и бурлит так громко в животе, что много жирного с утра ешь...

— А князь Куракин-то, гляди, мой друг, цугом прикатил... — слышал я голос за своей спиной. — И как он теперь с князем Репниным да с Бибиковыми разъезжаться будет? Не опоздать бы поглядеть!

Я вздохнул, поняв, откуда у Фальконета такое мрачное настроение. Мне стало его бесконечно жаль. Обойдя модель еще раз, я выбрался на улицу. Дядя с племянником появились не раньше, чем прошло еще полчаса.

На обратном пути в экипаже, подпрыгнув на очередном ухабе, Николай спросил у дяди:

— Вы действительно близко знакомы с Левицким?

— А почему тебя это так удивляет? — пожал плечами Юрий Федорович. — Я со многими художниками знаком.

— Многие — это не Левицкий... — вздохнул Николай. — Я был на академической выставке... Левицкий — новичок, а там выставлялись такие знаменитости! И вдруг именно у Левицкого — первое место за лучшую картину по совершенству формы и духовной наполненности. Я пока живопись только сердцем чувствую, но так хочется разобраться во всех тонкостях!

Помолчали. Потом Юрий Федорович с улыбкой посмотрел на племянника.

— Ты, Николенька, конечно, хочешь познакомиться с Левицким...

Николай встрепнулся.

— Да, да, дядюшка! Непременно! При первом для вас удобном случае...

— Он скоро представится, друг мой! Ведь у меня именины на следующей неделе.

А Дмитрий — первый из приглашенных. Вот и познакомьтесь! А тебе, Карлуша, и Гансу работы в тот день будет невпроворот, надеюсь, вы в очередной раз будете на высоте.

— Да уж мы постараемся не опозориться, Юрий Федорович! Применим все свое умение! А вы какой именинный пирог предпочитаете — шестигранный или восьмигранный? Юрий Федорович засмеялся.

— Да уж восьмигранный, будь любезен испеки. И обязательно свой знаменитый баумкухен, к нему все мои друзья с особой нежностью относятся. Впрочем, мы с тобой и с Гансом нынче же вечером все блюда обсудим, какие готовить и когда на стол подавать.

Блюда на именинный стол мы с дядей Гансом готовили целых два дня. Кажется, все у нас получилось — и хозяин, и гости остались довольны. Я, конечно, гостей не видел. До них ли мне было! Хотя о Левицком нет-нет и вспоминал. Уже после разъезда гостей, когда я буквально приполз в свою комнату, изнемогая от усталости, и свалился в постель, почти не раздеваясь, ко мне постучался Николай. Была уже глухая ночь, но он был радостно возбужден, и ему не терпелось поделиться со мной своими впечатлениями.

— Так ты познакомился с Левицким? — спросил я, еле ворочая языком.

— Познакомился! Это не то слово, Карлуша! — он со всего размаха плюхнулся в кресло, и я с тоской подумал, что в ближайший час я заснуть не смогу. — Я не только познакомился... Я подружился с ним! Это такой человек, такой человек! Да знаешь ли... Дмитрий согласился давать мне уроки рисования! Оказывается, он совсем недавно купил дом совсем рядом с нами, у него там прекрасная мастерская... Ты представляешь, он о плате за эти уроки даже слушать не захотел...

— Уроки? — вяло переспросил я. — Ты хочешь стать художником?

— Я не хочу становиться живописцем, но я хочу понимать тонкости этого ремесла...

— А зачем это тебе?

— Господи, Карл! Неужели я должен тебе это объяснять? Я хочу знать все! Хочу знать, как творит художник, как поэт складывает стихи, как композитор сочиняет музыку, как играет на сцене актер... Я все хочу знать! И может быть, когда-нибудь мне пригодится умение рисовать, и я сам напишу хорошие стихи или музыку...

Эти его слова я слышал уже сквозь сон.

Я окончательно уснул под звук голоса своего друга и не слышал, когда он ушел. Впрочем, Николай нисколько не обиделся и на следующий день болтал со мной беспечно о всяких пустяках.

Много позднее, поумнев и получив достаточное образование, я начал понимать необыкновенную одаренность своего друга. Не было на свете искусства, к которому он был бы равнодушен. Его занимало все, все возбуждало его ум и горячило сердце. Он любил и стихотворство, и театр, и живопись, и музыку, и архитектуру, и механику... Казалось, что время за ним не поспевало.

Едва Николай и Левицкий познакомились, как стали буквально неразлучны, хотя разница в годах у них была изрядная: Левицкий был старше более чем на десять лет.

Их преданная дружба и недолгие уроки живописи через несколько лет вылились в прекрасный миниатюрный портрет Николая, написанный мастером. Когда я впервые

увидел своего друга на холсте, то остолбенел. Вы, мои любезные читатели, прекрасно понимаете, что я хоть и видел в домах Львовых и Соймоновых различные портреты, но то были изображения их предков, порой писанных, как я позднее понял, достаточно неумело. А с этого портрета Николая кисти Левицкого на меня глядел живой мой друг, которого я знал с детства. Это был именно его веселый, лукавый и в то же время острый, пронизательный взгляд. Он не только смотрел с портрета прямо к вам в душу, но и обещал вам дружбу, самую искреннюю и преданную. Портрет этот все друзья Николая хвалили и подшучивали, что на портрете он изображен слишком умным. Николай немедля откликнулся на эти обвинения вот такой эпиграммой:

К моему портрету, писанному господином Левицким

Скажите, что умен так Львов изображен?

В него искусством ум Левицкого вложен.

Ну, а мое личное знакомство с Левицким состоялось довольно скоро и самым неожиданным образом.

Буквально через несколько дней после именин Юрия Федоровича за мной на кухню пришел лакей и сообщил, что хозяин вызывает меня к себе в кабинет. Мы с дядей Гансом недоуменно переглянулись. Я сказал лакею, что приду не мешкая, как только приведу себя в порядок. Быстро переодевшись в своей комнате, я поднялся наверх и постучал в дверь кабинета Юрия Федоровича. Услышав его приглашение войти, я переступил порог. Наш хозяин был не один. Свободно расположившись в кресле, мне приветливо улыбался его гость. Был он лет тридцати пяти, худощав, с тонким, ничем не выделяющимся лицом. Окинув меня мгновенным оценивающим взглядом, он отвел глаза.

— Это, Карлуша, мой друг — известный наш живописец Дмитрий Григорьевич Левицкий...

Гость сделал было протестующий жест. Но Юрий Федорович повторил:

— Конечно, ты — известный художник, Дмитрий... Так вот, Карл... Дмитрий Григорьевич недавно купил дом по соседству с нами, хороший дом, ничего не скажешь... И хочет собрать своих друзей отметить это важное событие. Это будет изысканное общество и довольно многочисленное. Повар у Дмитрия Григорьевича вполне достойный, я его кушанья с большим удовольствием вкушал. А вот с кондитером — проблема. Просит Дмитрий Григорьевич направить тебя в помощь. На моих именинах ты всех порадовал своей выпечкой. Ну, что ты на это скажешь?

Я, конечно, растерялся от неожиданности, но предложение было для меня вполне лестное, о чем я и сказал хозяину и его гостю. Они заулыбались, вполне удовлетворенные моим ответом. Мы поговорили еще недолго, уточнив дату и время, когда мне нужно будет появиться на кухне Левицкого.

К дяде Гансу я возвратился почти вприпрыжку. Он расчувствовался, обнял меня и поздравил с первым моим выходом на самостоятельную работу.

Так началась наша дружба с Левицким, которая продолжалась долгие годы. Как говорят, «боевое крещение» мое на празднике в его доме прошло весьма достойно, все меня хвалили от души — и сам Дмитрий Григорьевич, и Юрий Федорович, и Николай, присутствующий на этом вечере, конечно, комплиментов не жалел. И добавлю без ложной скромности: именно с этого дня стал я довольно часто отлучаться из дома по просьбе Юрия Федоровича, чтобы порадовать вкусной выпечкой гостей то одного его друга, то другого. Конечно, первое время я смущался, да и местные повара встречали меня без особой радости, видя во мне соперника, но вскоре я стал им достаточно

знакомым, ни на что лишнее не претендовал, и каждый из нас занимался своим делом: они приготовлением закусок, первых и вторых блюд, а я — кондитерскими изделиями.

Ну, а с Левицким я особенно сблизился, когда он начал писать портреты смолян. А почему это произошло — о том речь впереди.

Итак, Николай окончил обучение в школе, приступил к офицерским обязанностям, но усердных занятий не прекращал. Увоенные знания пытался передать мне. Ну, а я скучал и отвлекался, думая о своем. Однажды, когда я ответил на какой-то его вопрос совершенно невпопад, он нахмурился и сказал довольно жестко:

— Я понимаю, Карл, что многое из того, что я тебе сейчас втолковываю, в твоей жизни мало пригодится и потому совершенно тебе неинтересно. Но ты мне — очень близкий человек, почти что родственник, и своим друзьям я тебя представляю как друга. И я совсем не хочу, чтобы люди, которые меня окружают, считали тебя торжковским медведем, никогда не покидавшим деревенской поварни...

Мне стало стыдно. Я извинился, даже польщенный таким выступлением Николая, и впредь изо всех сил старался вникнуть в смысл его уроков.

В полк Николай уходил очень рано, часам к шести. Я вставал еще раньше, чтобы приготовить ему завтрак и накормить. У него появились интересные друзья, с которыми он потом был связан всю оставшуюся жизнь. Конечно, я тоже познакомился с ними.

Случилось так, что Юрий Федорович, получив отпуск в Конторе строений, надолго уехал из Петербурга. С большими предосторожностями повез он свою жену на последних сроках беременности в Москву, где она должна была находиться до самых родов под присмотром проживающей там своей матушки. Не терпелось Юрию Федоровичу повидаться и со старым своим батюшкой и сестрицей. Старший брат его, Михаил Федорович, к тому же только что получил очередную должность в Петербурге, и надо было ему помочь с возвращением в столицу. Так вот Николай на это время остался в доме за хозяина. Несмотря на занятость, он отнесся к этому со всей ответственностью. Со слугами он всегда держался довольно строго, а теперь внимательно следил, чтобы установленный в доме порядок ни в чем не нарушался. Лакеи и горничные его побаивались.

Но теперь по вечерам у него собирались друзья и засиживались далеко за полночь. А поскольку компания эта была молодая и всегда полуголодная, то Николай поручил мне позаботиться о том, чтобы чай и легкие закуски были всегда наготове. И я завел такой порядок, что к определенному часу буфетчик накрывал чайный стол в его комнате и приносил свежую выпечку и вошедшие в моду бутерброды. Потом буфетчик уходил. А я оставался, чтобы каждому желающему вовремя подлить чаю или предложить вкусную шанежку. Когда это произошло в первый раз, друзья Николая в мою сторону даже глазом не повели — зачем обращать внимания на какого-то слугу! Но Николай твердо произнес такое, что все замерли и с недоумением смотрели то на него, то на меня. Он сказал:

— Господа, хочу вам представить друга детства моего, очень мне близкого человека и при том — великолепного кондитера, в чем вы сегодня же убедитесь, Карла Кальба. Мы с ним редко разлучаемся, и потому вы будете часто видеть его в моем обществе...

Я, кажется, сильно покраснел и смутился, но тут же взял себя в руки и сдержанно поклонился. Конечно, были сначала и удивленные, и недоумевающие взгляды, слишком неожиданным был этот пассаж Николая, но поскольку я, не покидая комнаты, скромно располагался у окна и поднимался с места только для того, чтобы налить кому-нибудь чаю, то к моему молчаливому присутствию все скоро привыкли. Конечно, наши отношения с Николаем — дело особенное, но новые его друзья, узнав Львова поближе, поняли, что не только ко мне у него было такое дружеское расположение:

всю свою жизнь угадывая в простых людях особенно одаренных, он приближал к себе многих из них и был с ними на короткой ноге без всякого панибратства долгие годы...

Итак, у них составилась кружок. Самых близких к нему людей я быстро узнал. Пять месяцев кряду они выпускали рукописный журнал. Я читал эти журналы с большим интересом. В них молодые люди упражнялись в прозе и стихосложении, а также пробовали делать какие-то переводы. Я, конечно, не литературный критик, а в те годы был одного возраста с издателями, хорошо их знал, и оттого мне нравилось абсолютно все, что там писалось. Но готовя эти записки, я перелистал заново все журналы. Слава богу, они бережно хранились все годы мною и моими домочадцами. Теперь глазами пожилого человека, весьма осведомленного в литературе, я понимаю, что опыты Львова были в те годы достаточно робкими, хотя к тому времени он уже достаточно уверенно владел французским и итальянским языками...

Однажды на мой праздный вопрос, чем он нынче занимался на службе, Николай, засмеявшись, ответил вот таким каламбуром (он был позже размещен в названном рукописном журнале):

Итак, сегодня день немало я трудился:
 На острове я был, в полку теперь явился.
 И в школе пошалил, ландшафтик сделал я;
 Харламова побил; праздна ль рука моя?
 Я Сумарокова сегодня ж посетил,
 Что каменным избам фасад мне начертил.
 И Навакшенову велел портрет отдать.
 У Ермолаева что брал я срисовать...

Я, конечно, понял только одно: день Николая был сегодня непраздным. Увидев мое изумленное лицо, он с улыбкой попытался мне кое-что объяснить. Несколько дней назад в полку брал он у кого-то портрет Ермолаева, чтобы его «срисовать», что некто Сумароков чертил ему фасад каменных изб (Бог знает, зачем они ему понадобились), и что его интересует какой-то «ландшафтик».

Услышав от друга про «ландшафтик», я подробно расспросил о нем Николая. Занявшись серьезно изготовлением кондитерских изделий на кухне у Соймоновых, я все чаще приставал к дяде Гансу с вопросами о сооружении всяких архитектурных строений из тортов и мороженого. Дядя Ганс только плечами пожимал — он никогда не занимался ни рисованием, ни черчением, а всяческое понятие об архитектуре у него вообще отсутствовало. Я воспользовался моментом и пристал к своему другу с нижайшей просьбой взять меня в ученики хотя бы по черчению и составить для меня самый малый словарь архитектурных терминов и названий в надежде, что когда-нибудь он меня все же просветит и в этой части.

Николай поначалу страшно удивился моему неожиданному любопытству в такой для меня отдаленной области. Я ожидал от него обычной иронии и насмешек, но поняв, в чем дело, он отнесся к моей просьбе на удивление серьезно и пообещал о ней не забывать и находить иногда хотя бы несколько минут для моего образования. К сожалению, кружок издателей рукописного журнала по какой-то причине распался. Николай не распространялся по этому поводу. Из отдельных его слов понял я только, что кто-то написал на него весьма злую эпиграмму. Николай не преминул ответить «сатирой». Ну, и рассорились, разошлись авторы рукописного журнала. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Из года в год в круг Львова попадали весьма одаренные и талантливые люди, которые становились его друзьями на всю жизнь. Несколько

позже описанного времени ближайшим другом Николая, а впоследствии и его родственником стал Василий Капнист, которого вы, любезные читатели, знаете как знаменитого поэта и драматурга. Он сразу полюбился всем: остроумный, приветливый со всеми, веселый... И хотя он свободно владел французским и немецким языками, но говорил больше по-украински, на родном языке. Я очень хорошо помню его молодым: худощавый, среднего роста, с приятным лицом и насмешливой улыбкой. Зимой приехали из Москвы братья Соймоновы. Михаил Федорович назначен был императрицей президентом Берг-коллегии, ведавшей всеми горными делами государства, — большого знатока в горном деле во всей России было не сыскать. Это назначение Михаил Федорович принял с полной ответственностью. Он убедил Екатерину в неотложности создания специальной школы для горных инженеров. И довольно быстро создал ее, причем самолично отбирал первых учеников из лучших студентов Московского университета... Прибавьте к сказанному, что человеком он был очень приветливым и радужным, имел много друзей и прочные связи при дворе. А самое главное — принял Николая как родного сына, о чем тот никогда не забывал. Именно Михаил Федорович разжег его интерес к организации горного дела, который позже вылился у Львова в идею добычи отечественного угля, разработки угольных копей. Конечно, эти попытки закончились неудачно и, может быть, даже трагически, но на все, как говорится, Божья воля...

Михаил Федорович недолго оставался в Петербурге — вскоре уехал по поручению императрицы в Петрозаводск заниматься проблемами Олонецких заводов, которые совсем захирели в те годы. Однажды, когда Юрий Федорович также отсутствовал в столице по своим градостроительным делам, а Николай был на службе в полку, ко мне на кухню пришел человек из дома Левицкого с просьбой от хозяина явиться к нему по возможности скоро. Я не слишком удивился, думая, что речь идет об очередном приеме в доме художника. Особых дел на кухне у меня не было, и с разрешения дяди Ганса, переодевшись, я поспешил к Левицкому. Он жил на соседней «линии», как называются улицы на Васильевском острове, идти до него было не более пятнадцати минут. Меня встретил любезный лакей и доложил, что Дмитрий Григорьевич ждет меня в мастерской, и тотчас же проводил меня к нему.

Я впервые был в мастерской художника и с любопытством осматривался вокруг. Это была просторная зала, специально выстроенная для живописных сеансов, с большими окнами и с несколькими мольбертами, закрытыми холстами, расставленными в хаотичном порядке.

Левицкий, приветливо поздоровавшись, предложил мне удобное старинное кресло и попросил подождать, пока он приведет руки в порядок. Долго и тщательно он мыл их под рукомойником. Вытер полотенцем, снял забрызганный масляной краской передник и остался в свободной темной блузе. Наконец он опустился в такое же глубокое кресло рядом со мной.

— Я просил вас, Карл, прийти нынче по весьма неожиданному делу... Но прежде хочу спросить: видели вы хоть раз в Летнем саду гуляющих девушек-смолянок?

Об этих прогулках в городе ходило много разговоров. Девушек воспитывали в закрытом Смольном институте, отрывая от дома и родных на целых двенадцать лет. Таким образом императрица хотела создать новое поколение женщин, далеких от русской патриархальности. Об этом мне рассказывал Николай. И меня, как и многих молодых людей в Петербурге, юные «смолянки» очень интриговали. Однажды я даже намеренно отпросился у дяди Ганса, чтобы взглянуть на них издали, узнав, что нынче их опять приведут в Летний сад на променады.

Несколько смутившись, я искренне признался в том Левицкому.

Он широко улыбнулся.

— Не удивляйтесь моему вопросу, Карл... Дело в том, что государыня дала мне поручение написать несколько портретов девушек, особо отличившихся в науках и искусствах, которые им преподают в институте. Канцлер Бецкой составил для меня целый список этих замечательных девиц. Условие у меня единственное: никаких посторонних лиц при работе. Директриса с большим трудом согласилась оставлять девушек наедине со мной без попечения воспитательницы. Я приступил к первым портретам двух юных воспитанниц. Девушки эти — представительницы весьма древних, знатных и богатых родов, княжны. Возможно, вам известны их фамилии: Ржевская и Давыдова. Они, конечно, меня сначала дичились и стеснялись, я старался с ними быть как можно приветливее и веселее. Писать их парный портрет начал только с третьей встречи, на первых двух только болтал с ними, шутил. Наконец я провел с ними несколько сеансов, но на моем пути возникли проблемы... Я долго думал, как мне с ними справиться, и неожиданное решение мне предложил Николай. Он посоветовал взять вас в помощники...

Кажется, мои глаза чуть не выскочили из орбит.

— Меня?!

Левицкий расхохотался.

— Именно вас... Сейчас объясню. Дело в том, что обе девушки очень юны: Ржевской двенадцать лет, а Давыдовой лишь восемь. Позировать мне, стоять долго неподвижно им очень сложно. Но это еще полбеды... Я открою вам большую тайну, если скажу, что в институте их кормят весьма скудно. Они приходят ко мне после завтрака, который состоит из небольшого куса хлеба с маслом и жидкой каши. Ко времени обеда они уже страшно голодны, но, как положено воспитанным барышням, не жалуется. Вы уже поняли, Карл, к чему я клоню?

Кое-какие соображения, конечно, в моем мозгу уже замелькали, но я скромно ответил:

— Пока не могу понять, чем я могу быть полезен...

— Своим кондитерским искусством, дорогой... Мы с Николаем составили целый план ваших вылазок при моей работе в институте. Вы приготовите для мадемуазель самые вкусные пирожки и шанежки, возьмете с собой небольшой чайник — это ничего, что чай остынет, две самые красивые чашки, которые найдете в моей буфетной, и будете приезжать на сеансы в институт вместе со мной. Для посторонних вы будете моим учеником или помощником. Вам придется поскучать и потерпеть половину сеанса, потом вы девушек тайно покормите, не дай бог, о том узнает директриса! И я провожу вас до вестибюля. Я знаю, что Юрий Федорович в отъезде, уверен, что он возражать не будет...

Я тут же стал придумывать, какие вкусности надо приготовить барышням. Левицкий сразу все понял, засмеялся.

— Значит, вы согласны?

— Безусловно! Я всегда готов вам помочь, а тут такая интересная история...

Утром следующего дня я ждал Левицкого в вестибюле его дома. В моих руках была небольшая корзинка с выпечкой и чайником, укутанным в специальные кухонные паровые грелки. Корзинка была сверху прикрыта холстом, который применяют художники.

Мастерскую для художника в Смольном институте организовали в небольшой, очень хорошо освещенной театральной зале с невысокой сценой, на которой стояли позирующие юные особы. Девочки меня сначала стеснялись, разглядывали исподтишка, но вскоре поняли, зачем я тут, и были чрезвычайно обрадованы такой заботой о них самого Левицкого. Уже на второй, на третий день они с большим аппетитом поглощали мои изделия. Тем более что, как я узнал, сладости в институте они видели чрезвычайно редко. Во второй половине дня юные натурщицы уходили на уроки и на обед не

менее скудный, чем завтрак. А Левицкий продолжал работать в одиночестве до наступления темноты. Конечно, ему приносили в сумерках несколько канделябров и жирандольей. Но ему был нужен именно дневной свет, чтобы передать все нюансы выражения девичьих лиц. Так прошел месяц, а после и другой. На Петербург наступала осень, темнеть начинало все раньше, оттого сеансы становились раз от разу короче. Но портреты двух юных княжон уже ясно вырисовывались, чем они сами были чрезвычайно довольны. В послеобеденное время к художнику заглядывала и директриса, а иногда даже сам канцлер Бецкой, главный попечитель Смольного института, который неизменно оставался доволен работой художника... Вскоре позирование натурщиц Дмитрий Григорьевич использовал все реже. Теперь ему нужно было заниматься только поисками оттенков и нюансов цветов, в чем он, безусловно, весьма преуспел, и надобность в моем присутствии отпала. Работа Левицкого над серией портретов «смолянок» растянулась на несколько лет, его натурщицы становились все старше, и подкармливать их во время сеансов уже не было необходимости. Мои услуги Дмитрию Григорьевичу более не были нужны. Они востребовались после лишь однажды, а при каких обстоятельствах — о том я напишу позднее.

Когда я рассказывал Николаю, с каким аппетитом юные княжны поедали приготовленную мною выпечку, он смеялся до слез и был очень доволен, что рекомендовал Левицкому такой перерыв в работе. Он даже несколько завидовал мне, поскольку я оказался в центре жизни института, а он был в это время в полку. Ему было очень интересно все, что происходит в этом закрытом заведении. От него я узнал, что Институт благородных девиц был создан императрицей и Бецким только для того, чтобы не отстать от просвещенной Европы. Екатерина пригласила Дидерота в Петербург и желала во что бы то ни стало удивить его первыми выпускницами — образованными в науках, понимающими толк в живописи, обученными музыке, танцам и пению, умеющими вести беседы на иностранных языках... И портреты лучших смолянок, заказанные Левицкому, как нельзя более способствовали этому замыслу.

Россию в те годы захлестнула европейская волна Просвещения. Молодежь бредила учениями Вольтера и Дидро, которого в России звали «Дидеротом». Когда у Николая собирались друзья, имена французских философов разносились по всему дому, а споры молодых людей иногда бывали чрезмерно запальчивыми. Признаюсь, я, присутствуя на этих вечерах, поначалу улавливал смысл только отдельных фраз. Николай потом долго мне растолковывал, о чем, собственно, они спорили. Конечно, несколько позднее я уже кое-что и сам понимал, но, безусловно, ни в какие дискуссии не вмешивался, только слушал, не забывая о своих прямых обязанностях: вовремя подлить кому-нибудь чаю или подсунуть кренделек особо разгорячившемуся спорщику...

Служба в полку надоела моему другу до смерти и не приносила никакой радости и удовлетворения. И Николай зачастил в дом Петра Васильевича Бакунина, правой руки графа Никиты Панина в Коллегии иностранных дел, который приходился Львовым каким-то весьма далеким родственником. Дом Бакунина был открытым, здесь собирались родные хозяев и друзья, видные государственные деятели и столичная знать.

И, как случалось всегда, весьма скоро Николай очень расположил к себе хозяина дома — влиятельного человека, который готов был ему помочь в любых делах.

Поздними вечерами, иногда даже посреди ночи Николай приходил ко мне в комнату радостный и возбужденный. Я понимал, что ему необходимо выговориться, поделиться своими впечатлениями. Я не только не обижался за него за очередную бессонную ночь, но, весьма польщенный его привязанностью ко мне, несмотря на усталость, готов был слушать его до утра.

Однажды, вернувшись довольно поздно из дома Бакунина, он зашел ко мне и был как-то особенно взволнован и даже возбужден.

— Садись и рассказывай... — усадив его в кресло, без обиняков велел я ему, устроившись рядом.

Он сел и как-то даже растерянно произнес:

— Меняется моя жизнь, Карлуша... Резко меняется. Я никак не мог предположить, что так все обернется...

Я забеспокоился, пожалуй, даже испугался.

— Да говори толком — что случилось?

Он взглянул на меня и рассмеялся.

— Чего ты испугался? Все хорошо, мой друг, все просто замечательно! Мне сегодня Петр Васильевич экзамен устроил... Самый настоящий.

— Бакунин? Какой экзамен? Зачем?

— Вот и я поначалу не понял зачем. Проверил он досконально мои знания и в немецком, и во французском, и в итальянском языках и остался весьма мной доволен. После чего вдруг сообщил, что уже давно хлопочет перед графом Никитой Ивановичем Паниным обо мне, чтобы устроить меня на службу в Коллегию иностранных дел курьером. И нынче Панин получил на то согласие от государыни. Ты представляешь, что это такое?!

— Нет, конечно...

И Николай растолковал мне вкратце, что за должность такая — курьер в Коллегии иностранных дел.

— Но это еще не все... — Николай загадочно посмотрел на меня. — Петр Васильевич решительно предложил мне как можно скорее переехать к нему. Он тут же показал мне мои будущие апартаменты. Это, знаешь ли... Я о таких и мечтать не смел. — Он покачал головой. — Так что, друг мой, в ближайшее время я получаю отпуск на службе, поеду в Черенчицы к матушке, надо же ей рассказать обо всем, а как вернусь — переезжаю к Бакунину. Конечно, с великой благодарностью к Соймоновым за их великодушие и гостеприимство. Ну, а после начинаю выполнять свои обязанности курьера в Коллегии иностранных дел. Меня ждут интересные вояжи. В разные страны...

Николай замолчал, задумчиво покачав головой. Я сидел потрясенный. И не мог и слова вымолвить.

— Ну, что ты молчишь, Карлуша, словно воды в рот набрал? Что скажешь?

— Я, конечно, тебя поздравляю... — промямлил я. — Это очень интересно и хорошо во всех отношениях.... Только...

— Что только? — засмеялся Николай. — Я понимаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, как ты останешься у Соймоновых один, без меня?

Я ничего не ответил. Сидел, низко опустив голову.

— Смотри веселей, друг мой! — он расхохотался. — О твоей судьбе тоже разговор был. Петр Васильевич, как узнал, что ты по происхождению немец, очень обрадовался. Повара у него — из крепостных, не слишком умелые и усердные. Народу в его кухонном флигеле толчется тьма, работных баб и кухонных мальчиков не счесть, а только пользы от того — ноль: то к приезду гостей не успевают блюда приготовить, то что-нибудь из дорогих заграничных продуктов испортят. Бакунины давным-давно хотели повара-француза нанять. А как Петр Васильевич про немца услышал, ты даже представить себе не можешь, как обрадовался. Тем более что я тебя представил не только как искусного повара и кондитера, но и как друга своего детства. Так что переезжать в дом Бакуниных мы будем вместе.

Вот так наша судьба с Николаем опять сделала резкий поворот.

Но вы, наверно, уже догадались, мои дорогие, что жизнь Львова с этого времени стала не только намного интереснее, но и приобрела большой смысл. У меня в моих

дрожащих то ли от старости, то ли от волнения руках его служебный «аттестат». Я его совсем недавно с большим трудом выпросил у старшего сына Николая Леонида, с трудом уговорил доверить мне бесценную бумагу на несколько дней.

И вот что там писано: «По указу ее императорского величества и по определению Государственной Коллегии иностранных дел дан сей аттестат находившемуся в ведомстве оной Коллегии посольства советнику Николаю Львову в том, что в службе состоит с 1759-го году, сначала в лейб-гвардии Преображенском полку, где произошел от бомбардир до сержантов, и находился при означенной Коллегии в курьерской должности, откуда неоднократно послан был в разные иностранные государства к обретающимся там ее императорского величества министрам, и возложенные на него комиссии исправлял с отличным усердием и исправностью...»

Николай ненадолго получил отпуск для того, чтобы навестить матушку и сестер в родных Черенчицах. Я, конечно, воспользовался его отъездом, чтобы отправить с ним подробное письмо дорогому родителю о своей нынешней жизни, похвастаться успехами. Без ложной скромности доложу я вам, что к этому времени я стал в городе достаточно известным кондитером, меня наперебой стали приглашать в разные известные дома. Моя работа по приглашению не только расширяла границы моего искусства, но и мои знакомства со знаменитыми людьми нашего времени, например с Левицким...

Срок моего договора с Юрием Федоровичем о переходе из его дома на самостоятельную работу к новым хозяевам давным-давно истек, а приглашения на постоянную службу в чей-то дом я, к сожалению, до сих пор не получал. В деньгах братья Соймоновы нас с дядей Гансом не обижали, мой личный капитал за прошедшие несколько лет значительно пополнился: повара-иностранцы ценились в Петербурге достаточно высоко и получали жалованье намного выше русских поваров. Но я мечтал о самостоятельном поприще, чувствовал себя лишним на кухне у Соймоновых и был теперь просто счастлив от приглашения в большой дом Бакуниных. По ночам беспокойно вертелся в постели — только бы не сорвалось чего-нибудь в этих планах, только бы Бакунин не передумал...

Николай уехал в Черенчицы. Наш хозяин отпустил с ним в отпуск и дядю Ганса, очень уж тому хотелось повидаться со своим братом, моим батюшкой. Михаил Федорович трудился в Петрозаводске, а Юрий Федорович отбыл надолго из Петербурга по своим служебным делам. Дом Соймоновых опустел. Перед отъездом Юрий Федорович изрядно сократил количество прислуги в доме, но в полутемных комнатах я то и дело наткнулся на изнывающих от безделья лакеев. Я мало чем отличался от них. Уже была глубокая осень, и дожди лили с утра до вечера. В такую погоду куда-то выходить из дома не хотелось. Да и дел в городе не было никаких. Я с нетерпением ожидал возвращения Николая, считая дни, оставшиеся у него от отпуска.

И вот наконец темной, сырой ночью услышал я сквозь сон звонко зазвеневший дверной колокольчик. Громко захлопали двери, и затопали по лестницам слуги. Я подбежал к окну. Слава богу — это приехал Николай! Схватив свечу, я тут же бросился к нему в комнату, в ней было сыро и неуютно. Быстро зажег все свечи в жирандолях и канделябрах, пришлось не единожды дернуть за сонетку, пока не появился заспанный лакей — я приказал ему немедленно затопить камин.

И вот в дверях появился, потирая усталую спину, Николай. Два лакея внесли за ним его баулы и чемоданы. Он отдал распоряжение слугам, как поступить с остальным багажом, и когда они исчезли, мы наконец обнялись. Я, видимо, чересчур пылко прижал его к себе — мой друг даже вскрикнул.

— Сразу, видать, Карлуша, что давненько ты не ездил по нашим осенним дорогам... У меня не только спину, но и все бока ломит...

— Ну, прости, прости! Ты, верно, есть хочешь? — спросил я.

— Нет, я так устал, что никакого голода не чувствую. Ты меня завтра накормишь, а сейчас только спать. Спать, спать. ...

Я помог ему стянуть с себя дорожную одежду.

— Спасибо, Карлуша. Спасибо, дружище... Я тебе письмо от родителя привез, только его еще найти надобно. Это завтра... Дядюшка твой решил еще остаться недели на две, все равно Юрий Федорович раньше не вернется. Чем покормить меня — ты всегда найдешь, а слуги у тебя никогда голодными не ходили.

— Ну, и прекрасно... — пожал я плечами. — Дядя Ганс столько лет без отпуска трудился. Пусть отдохнет.

Николай опять потер свои болезненные бока.

— У меня еще три дня отпуска. Завтра отлежусь, отдохну, а после буду думать о переезде к Бакуниным. А когда твой дядя Ганс вернется, и ты отсюда съедешь.

Я еще раз вызвал лакея и велел ему оставить зажженной одну свечу, проследить за камином и помочь Николаю улечься в постель. Пожелав другу спокойной ночи, я, несказанно счастливый, отправился к себе.

Как я уже писал, Николай на службу уходил очень рано, а я вставал еще раньше, чтобы приготовить ему завтрак. Но нынче он очень устал с дороги, отпуск его еще не кончился. И когда мой друг встанет поутру, я, конечно, не предполагал. Тем не менее я поднялся с постели еще в полной темноте, зажег свечи, умылся. Привел себя в порядок и отправился на кухню. Разбудил кухонного мальчику, который спал тут же на полу, велел поднять работную бабу и растопить печь. Втроем мы довольно быстро справились с приготовлением завтрака для Николая Александровича и немногочисленных слуг-бездельников. Я решил приготовить любимую Николаем выпечку и принялся за тесто. И так увлекся, что не заметил, как пролетело время. Появился лакей и доложил, что Николай Александрович проснулись и желают, чтобы я собственноручно принес им завтрак в их комнату. Я отправил лакея с накрытым подносом вперед, а сам взял еще один, поставил на него кофейник с заваренным кофе, сливки, две чашки и только что испеченные крендельки и печенье.

Николай уже встал и умывался под рукомойником. Я отослал слугу и помог ему обтереться полотенцем.

— Ну, как ты себя чувствуешь? Полегчало ли?

— Не могу сказать, что я бодр, как всегда... Но по сравнению со вчерашним мне намного лучше. О, да ты уже успел и печенье приготовить?! Ну, спасибо, дружок. Давай кофе пить. А после я Левицкому записку напишу. Не успел я с ним попрощаться перед отъездом, он все смолянок писал в институте...

Николай черкнул несколько слов на чистом листе и протянул мне.

— Сделай милость, Карлуша, отправь человека к Дмитрию Григорьевичу. Если он дома, вели слуге подождать ответа, а коли нет — пусть он мое письмо оставит камердинеру и передаст, что я просил хозяина мне отписать, как только вернется.

Я был почти свободен от кухонных дел, и мы провели с Николаем вместе целый день. Письмо от батюшки было подробным и ласковым, мне очень захотелось с ним повидаться. Но поскольку я только собирался приступить к работе в доме Бакуниных, я даже думать не смел о поездке в Черенчицы.

Уже после обеда принесли письмо от Левицкого. Николай быстро пробежал его глазами и радостно воскликнул:

— Слушай, Карл... Здесь такая новость! Такая новость! Левицкий нынче пишет портрет Дидерота!

— Он в Париже?

— Нет, мой друг! Не Левицкий в Париже, а Дидерот в Петербурге!

— Дидерот здесь?!

— Представь себе! О господи, да ты ведь совсем ничего не знаешь! Так устраивайся поудобнее, делать нам сегодня нечего, я тебе все подробно изложу.

Я устроился в любимом кресле.

— Так вот, мой друг... Если помнишь, я тебе не однажды сказывал, что императрица наша питает глубокую привязанность и к Вольтеру, и к Дидероту. Она не раз приглашала их в Россию, особенно Дидерота. Он неизменно отвечал вежливым отказом. Беда в том, что он всегда жил очень скромно, настолько скромно, что, по слухам, не смог по этой причине удачно выдать замуж свою дочь. В конце концов, оказавшись в весьма тяжелых обстоятельствах, он объявил о намерении продать свою потрясающую библиотеку. Нам с тобой даже представить трудно, что это такое — библиотека великого Дидерота! Когда наша государыня узнала об этом, она не только сразу уплатила запрошенную сумму — кажется, что-то около пятнадцати тысяч франков, но и оставила книги в полном распоряжении их хозяина.

— Какая щедрость!

— Это еще не все, Карлуша! Специальным указом императрицы Дидерот был назначен пожизненным хранителем собственной библиотеки с ежегодным содержанием, насколько мне известно, ни много ни мало в тысячу франков. Причем жалованье было выдано за пятьдесят лет вперед.

— Вот это подарок!

— Еще бы! Но в связи с этим «подарком», как ты изволил выразиться, поездка в Россию теперь стала для Дидерота делом чести. Но по разным причинам, серьезным и не очень, он не мог решиться на нее еще лет восемь. И вот в то время, когда я был в Черенчицах, он прибыл в Петербург. И, представь себе, Левицкий пишет его портрет в доме братьев Нарышкиных на Адмиралтейской стороне, у которых Дидерот поселился. Дмитрий просит меня нынче же вечером, часов около восьми, посетить его дома, он мне расскажет все подробности. Я, конечно, был бы несказанно рад познакомиться с Дидеротом, но это уж как получится... Сколько сейчас времени?

Словно отвечая на его вопрос, рядом в гостиной тяжело загудели напольные часы, отсчитывая время. Было семь вечера. И Николай стал собираться к Левицкому.

— Ты только рано спать не укладывайся, — велел он мне на прощание. — Я все про Дидерота тебе рассказать должен.

— Ну, это уж обязательно! Я без того и не засну...

Николай вернулся от Левицкого довольно поздно, а я, как и обещал, не думал ложиться. Мы проболтали почти до утра.

Оказывается, в мастерскую художника привезли нынче из Смольного института последний выполненный Левицким портрет смолянки Глафиры Алымовой — одной из лучших выпускниц. Портреты, написанные прежде, уже стояли в мастерской, и Николай их видел и был от них в восторге. Но портрет Алымовой — это... Если другие были заказаны самой императрицей, то этот — не кем иным, как Иваном Ивановичем Бецким. Ну, о том — рассказ особый, повременю пока.

— Слушай, Карлуша, какие у нас с тобой будут планы на завтра... — продолжал Николай. — Хотя — на сегодня, ведь утро уже. Дидерот нынче с самого утра поедет в мастерскую Фальконета, давнего своего друга, осматривать статую. Потом — на каждодневную аудиенцию к императрице... Левицкий с утра поработает над его портретом в тишине и в одиночестве, а после пришлет за мной коляску, так как хочет непременно показать мне свою работу. Он и тебя приглашает, ты опять ему зачем-то понадобился. Очень ты ему полюбился.

— Я полюбился или мои крендельки?

— Не придирайся к словам, мой друг! Ты знаешь, что всегда располагаешь к себе моих друзей. Так поедешь или нет?

— Я бы с радостью... Но мне надобно кормить слуг.

— Успеешь. Посмотришь портрет, повидеаешься с Левицким и вернешься к обеду. Если и припоздаешь несколько — невелика беда, подождут слуги.

Я кивнул, хотя в моей педантичной немецкой душе и мысли такой не могло родиться, чтобы я опоздал с обедом даже для немногочисленной, оставшейся в доме дворни. Таким уж я родился.

Когда мы уже сидели в экипаже Левицкого, Николай, смеясь, сообщил мне еще одну деталь.

— Знаешь ли, Карлуша, про Дидерота немало смешных историй рассказывают, у него слабости, как и у всех великих людей. Но есть одна особенная. Дидерот обожает позировать художникам. Дмитрий смеялся, рассказывая, что тот был страшно польщен, когда братья Нарышкины их познакомили — ведь Левицкий, как-никак, академик живописи.

Нам в тот день повезло: осенняя погода решила нас порадовать. Светило неяркое солнце, и ветра особенного не было.

Тяжелую дверь богатого дома Нарышкиных нам отворил важный швейцар в ливрее. Он принял из наших рук верхнюю одежду, и молодой учтивый лакей провел нас в большую светлую залу, очевидно танцевальную, предоставленную в полное распоряжение Левицкому, в которой он работал над портретом философа. Увидев нас, художник отошел от мольберта и приветливо улыбнулся.

— Я рад видеть вас обоих. Сейчас помою руки и покажу свою работу.

Он снял передник, перепачканный краской, отодвинул подальше от мольберта палитру. Николай с готовностью полил ему на руки из кувшина, стоящего в широком тазу у стены.

— Спасибо, мой друг.

Тщательно вытерев руки, Дмитрий Григорьевич, улыбаясь, повернулся к нам.

— Дело в том, что завтра в полдень ко мне в мастерскую пожалует не кто иной, как Иван Иваныч Бецкой для оценки портрета своей любимой воспитанницы Глафиры Алымовой. От обеда он заранее отказался, но я знаю, что к кофею сей великий муж не равнодушен, и думаю, от него не откажется... И с уверенностью могу вам сообщить, что к немецкой кухне, и особенно к немецкой выпечке, он большую слабость имеет. Вы меня осчастливили бы, Карл Францевич, если бы согласились своими кондитерскими изысками украсить мой чайный стол...

— Он согласится, согласится, — со смехом вмешался Николай. — Подумай только, Карлуша, ты ведь самого канцлера Бецкого своим баумкухеном будешь потчевать!

Я, конечно, страшно смутился, но сразу согласился. Мы договорились, что я нынче к вечеру приду к Левицкому домой, и мы договоримся о деталях.

— Ну и слава богу! — обрадовался художник. — А теперь, друзья мои, подойдите сюда... Ну, не так близко... Встаньте справа. Тогда свет из окон будет падать в нужном направлении. Вы — первые зрители моего творчества. Мне очень интересно, что вы скажете.

Мы с Николаем подошли и встали там, где было указано художником. Конечно, его реплика по поводу нашего мнения о портрете относилась к Николаю, уж вовсе не ко мне — повару и кондитеру. Но меня тронуло столь тактичное отношение известного мастера ко мне.

Я не представлял себе внешность французского философа и предполагал, что на портрете увижу некую важную официальную личность в парике и парадной одежде. Но мудрый пожилой человек, с легкой грустью смотревший на меня, поражал своей простотой и обыденностью. Он выглядел бесконечно усталым, задумчивым и доброжелательным. Казалось, что он только что снял пудренный парик и надел домашний

халат. Николай был поражен увиденным не менее, чем я. Они с Левицким тут же начали бурно обсуждать тонкости портретной живописи, а я просто стоял и смотрел. И не мог наглядеться. И вдруг позади себя мы услышали хрипловатый голос, говоривший по-французски, который заставил меня вздрогнуть от неожиданности.

— В течение дня я имею сто самых разных физиономий, в зависимости от предмета, который меня занимает. Я бываю грустным, ясным, задумчивым, нежным, резким... Мое лицо обманывает художников, я не бываю одинаковым в разные минуты.

Левицкий оборвал свой разговор с Николаем и рассмеялся.

— Это вы, господин Дидерот! О, и мсье Фальконет с вами! Я рад представить вам своих молодых друзей — это Николай Львов и Карл Кальб. Они здесь по моему приглашению. Надеюсь, вы ничего не имеете против?

Я оглянулся. На этот раз я увидел Дидерота в парике, который сидел на его круглом черепе как-то неловко. Рядом с ним стоял Фальконет, столь же хмурый и усталый, как и в первую нашу встречу на демонстрации большой модели его монумента.

— Отчего же! — живо откликнулся Дидерот. — Мне очень любопытна молодежь государства Российского. Мы много спорим о ее судьбе с императрицей. Ну, и как вы, молодые люди, находите мой портрет? Могу признаться, я не люблю своих портретов...

— Ну, ну... — язвительно произнес Фальконет. — Вашими портретами весь Париж увешан. И кажется, вы несколько тому не противитесь... И какие живописцы! Назвать фамилии?

Дидерот с улыбкой отмахнулся.

— Давайте лучше сядем и поговорим о судьбах русского изобразительного искусства...

И, стянув неуклюжий парик, первым присел на канapé в глубине зала.

— Садитесь, Этьен. Вы увидите, вернее, услышите, что мысли русской молодежи весьма интересны. Садитесь и вы, молодые люди... У меня до встречи с императрицей есть еще пара часов, мне очень хочется услышать ваши рассуждения. Это будет весьма интересная тема для сегодняшнего разговора с государыней.

Воспользовавшись паузой, связанной с рассаживанием, я по-французски извинился, сослался на неотложные дела, раскланялся и покинул весьма заинтриговавшее меня общество.

Уже в дверях я расслышал лестную для себя фразу Дидерота:

— Вот видите, Этьен, русская молодежь весьма образованна. Этот молодой человек свободно разговаривал с нами по-французски, и могу поспорить, что он знает еще пару иностранных языков. А вы все ворчите, что здешняя молодежь ничему не хочет учиться...

На следующее утро, когда я стоял у плиты в доме Левицкого, на улице еще была непроницаемая мгла. По приказу хозяина все кухонные работники помогали мне с усердием, иногда даже излишним. Ровно в полдень, когда серое туманное утро осветило фасады соседних домов, к дому цугом подъехала роскошная карета. Вся кухонная челядь прилипла к окнам, мне как гостю уступили самое почетное место с той стороны, с которой лучше всего был виден подъезд. Я, как и все, с большим любопытством разглядывал экипаж. Верховые, сопровождавшие его, «вершники» на передних парах лошадей и лакеи, стоявшие на запятках, были в ливреях, обшитых золотом по всем швам. Левицкий встречал важного гостя на крыльце своего дома. Конечно, из окна кухонного флигеля невозможно было разглядеть лицо Бецкого, я увидел только сутулую фигуру старика, важно и неторопливо поднимавшегося по лестнице навстречу хозяину.

Со слов Николая, я знал, что Бецкого в Петербурге называют «Сфинксом» из-за непроницаемого выражения его физиономии. Говорили, что он вечно колеблется между словами «да» и «нет». Но в те годы Иван Иванович Бецкой был великим человеком. Не было в столице ни одного значительного дела, в котором он не принимал бы самого активного участия. Он был главным попечителем Воспитательного дома и директором Шляхетского корпуса, директором Конторы от строений Ее Императорского Величества домов и садов. Первым заинтересовался искусством выведения цыплят без наседки и разведением шелковичных червей. В императорских садах и резиденциях не могла решиться без его участия самая ничтожная проблема. Злые языки говорили, что когда в петергофском пруду всплыли кверху брюхом пять сазанов, их боялись трогать и не вытаскивали из воды несколько дней, пока он не дал распоряжения по этому поводу. Сплетники приписывали ему даже отцовство государыни, но мне ли судить о том, что в том правда, а что — нет...

Прошло, наверно, более часу, когда велено было накрывать чай в столовой. Я, конечно, очень волновался, когда побледневший от страха лакей понес мою выпечку из кухонного флигеля в господский дом. У меня, как и у него, дрожали руки. Но все прошло спокойно. Важный гость отбыл восвояси, а лакей сообщил мне, что Дмитрий Григорьевич приглашает меня в свою мастерскую.

— Ну, Карлуша, — встретил он меня, улыбаясь, — поздравляю вас. Ивану Ивановичу ваша выпечка не только понравилась, он вашей персоной весьма заинтересовался.

— Моей персоной? — опешил я.

— Представьте себе. Когда он узнал, что вы родились в Сибири в доме самого старика Соймонова и нынче проживаете у его сыновей, очень вы ему любопытны стали. Ваш баумкухен им признан восхитительным. Он сказал, что непременно о вашем искусстве расскажет императрице. Нынче-то все — французская кухня да французская... А государыня наша все-таки немка и вкусы свои немецкие вовсе не скрывает...

Я, конечно, таял от этих комплиментов. Но мастерская художника — это все-таки мастерская художника. У меня просто глаза разбежались. Но я успокоился, увидев знакомые портреты смолянок, что создавались при мне, если не сказать смелее, при моем непосредственном участии. В мастерской Левицкого они смотрелись совсем иначе, чем в скромной театральной зале Смольного института, но личики девочек показались мне такими знакомыми и милыми, что я невольно заулыбался.

Левицкий расхохотался.

— Ну что, мой друг, знакомых девиц увидели? Но кое с кем вы совсем не знакомы. Подойдите сюда, Карлуша...

Да, этих выпускниц Смольного института я не знал. С портретов на меня смотрели семь юных созданий, семь прелестных девиц — кокетливых, слегка манерных, старательных, совсем малышей и уже повзрослевших — первых выпускниц Смольного института благородных девиц. Тех самых, которыми, по слухам, гордилась императрица. Левицкий назвал их фамилии.

— Нелидова, Левшина, Борщева... Особенно обратите внимание, Карлуша, вот на этот портрет — это Глафира Алымова. Ее заслуженно считают лучшей арфисткой Петербурга...

И я увидел стоявший в стороне портрет еще одной выпускницы Смольного института, в белом атласном платье. Она сидела перед арфой, положив на ее струны длинные пальцы.

Левицкий взглянул на меня мельком, но весьма многозначительно.

— Портрет Алымовой заказал мне сам Иван Иванович Бецкой. Думаю, ради того, чтобы в деталях его рассмотреть, он и пожаловал в мою скромную мастерскую. Он рассеянно взглянул на прочие портреты, которые видел еще в институте, когда наезжал

туда с проверками, попросил меня поставить кресло против портрета Алымовой и оставить его на полчаса в одиночестве. Я с готовностью выполнил его желание. Когда же я в назначенное время вернулся, Бецкой сидел в кресле в глубокой задумчивости. Мне даже показалось, что на его щеках блеснули высыхающие слезы...

Я во все глаза смотрел на Дмитрия Григорьевича. Он многозначительно улыбнулся.

— Да, мой друг... Вот такая история...

Я никогда не был сторонником всяких слухов и сплетен, а тут совсем смутился и, желая перевести разговор на другую тему, спросил:

— И какова судьба ваших шедевров?

Левицкий поморщился.

— Ну, не надо таких громких слов, мой друг... Я о своих творениях так никогда не думаю. Иван Иваныч сказал, что императрица желает разместить их по своему вкусу в Петергофе, на женской половине, как только состоится торжественный выпуск первых смолянок...

О том выпуске ходило много в столице самых разнообразных слухов. Кто-то хвалил Бецкого за создание Смольного института, кто-то считал, что его идея воспитания нового поколения русских женщин — чистой воды фантазия влиятельного вельможи под давлением императрицы... Говорили, что вместо воспитания добродетельных жен и матерей Смольный воспитал плеяду светских дам. По Петербургу гуляла эпиграмма, которую приписывали не кому-нибудь, а самому Денису Фонвизину:

Иван Иваныч Бецкий,
Человек немецкий,
Носил мундир шведский,
Воспитатель детский,
В двенадцать лет
Выпустил в свет
Шестьдесят кур,
Набитых дур...

Мне было немного обидно за девушек. Из большинства из них действительно не вышло знаменитостей. Но невозможно всех назвать «набитыми дурами». Лучшие выпускницы стали фрейлинами великой княгини Натальи, императрицы Марии Федоровны, о судьбе Нелидовой — вообще разговор особый. Глафира Алымова тоже стала фрейлиной самой императрицы...

Не мне судить об отношениях Бецкого и Алымовой. Много слухов по Петербургу ходило по этому поводу. Говорили, что по его распоряжению они с мужем были вынуждены жить в его доме. Болтали, что он входил к ним в любое время без приглашения и так докучал, что они сбежали в Москву. Но Бецкому было уже очень много лет, и здоровье его ухудшалось с каждым днем. Постепенно он стал отходить от дел. И говорили, что даже императрица теперь в его адрес иногда отпускала ядовитые шуточки. Ну а после смерти государыни и отъезда пассии Глафиры с мужем у Ивана Иваныча случился удар. Его парализовало, он ослеп и окончательно помутился рассудком. Смерть его прошла для России почти незамеченной. Только добрейшей души человек Гаврила Романыч Державин посвятил ему трогательную оду «На кончину благотворителя». Особенно трогательные ее строки я всегда вспоминаю, когда мы с женой, гуляя, проходим мимо дома Бецкого, что у Летнего сада. Домом этим давным-давно владеют другие известные люди, но мне жаль, что память об этом государственном деятеле так быстро покинула Россию и даже Петербург. Жена моя Наташа, всегда чутко чувству-

ющая мое настроение, иногда сама начинает читать эти памятные для меня стихи, а я тихонько ей вторю:

И ты, наш Нестор долголетний,
Нить прервал нежных чувств своих;
Сто лет прошли — и неприметно
Погасло солнце дней твоих!
Глава сребрится сединами,
И грудь хотя горит звездами,
Но протекла Невы струя:
Пресеклась, Бецкой, жизнь твоя.

На следующий день после посещения дома Левицкого я помог Николаю переехать к Бакунину. Здесь он получил апартаменты значительно просторнее и удобнее, чем ему были предоставлены Соймоновыми, которые и сами жили довольно скромно по сравнению с Нарышкиными или Бакуниными. Скучное петербургское солнце, едва появляясь, освещало все пространство огромной комнаты, которую скорее можно было бы назвать «залой». Поскольку «зала» находилась в углу большого дома, то окна из нее выходили как на восток, так и на юг, и если уж появлялось солнце на небе, то оно светило почти целый день, переплывая с одной стороны на другую. Красивый мраморный камин украшали позолоченные жирандоли, удобная кровать была широкой и в изголовье украшена забавными фигурками амуров. Впрочем, Николаю редко приходилось пользоваться всем этим великолепием. Едва приступил он к курьерской службе, как немедля был отправлен за границу. Дорога туда и обратно занимала немалое время, да и в местах назначения, куда он был направлен, необходимость заставляла его оставаться довольно длительное время. Помню, что города и страны в его рассказах мелькали бесконечно. Многие названия городов я вообще впервые слышал именно от Николая и приставал к нему с расспросами. Посещение Гамбурга сменялось у него поездкой в Копенгаген, оттуда — в Лондон, а после то в Париж, то в Италию... Сейчас я уж и не припомню, в каком порядке следовали те разъезды.

Едва Юрий Федорович вернулся в Петербург, я пришел к нему в кабинет и, низко поклонившись, поблагодарил за все, что он для меня сделал за прошедшие годы. Юрий Федорович искренне обрадовался, что у меня теперь будет прекрасное место, где я смогу проявить свои не только кулинарные, но и организаторские способности, и пожелал мне самых больших успехов. На прощание я приготовил ему его любимый баумкухен и много всяческих сладостей, к которым он имел немалую слабость.

Но переехать в дом Бакуниных я не успел: из Черенчиц пришло трагическое известие — от болезни сердца скончался мой батюшка, и я поспешил в имение Львовых. На похороны я не успел. Вместе с сестрами Николая отправились мы на погост под сильным осенним дождем. Девушки, указав мне место, где упокоился мой родитель, сразу ушли. А я долго стоял у свежей могилы, которую размывал ливень, плакал, а после вернулся в наши семейные комнаты в кухонном флигеле, в которых прошли мои детство и юность. К вечеру ко мне постучалась горничная и сообщила, что Прасковья Федоровна, матушка Николая, ждет меня в гостиной. Когда я вошел к ней, все свечи в доме были уже зажжены, Прасковья Федоровна сидела у широкого обеденного стола, и перед ней стояла большая шкатулка из резного дерева, принадлежавшая когда-то моей матушке, в которой мой отец хранил свои сбережения.

— Вот, Карлуша, — сказала Прасковья Федоровна, — в этой шкатулке все твое наследство. Батюшка твой перед смертью успел меня призвать и просил передать тебе свое благословение. Мы вместе с ним пересчитали его сбережения, надо сказать, они

весьма внушительные... Как объяснил он мне, начало было еще в Тобольске положено, старик Соймонов на благодарность за труды не скупился. Да и матушка твоя тоже немалое жалованье получала. Ну, а в Черенчицах ему особенно не было нужды тратиться, все для тебя берег...

Я не сдержался и заплакал. Принял от Прасковьи Федоровны драгоценную шкапулку, прижался губами к ее морщинистой руке, она меня благословила и поцеловала в лоб.

Долго оставаться в Черенчицах я не мог, потому уже на следующий день заторопился в Петербург. Любезная Прасковья Федоровна предоставила мне свою коляску до Торжка, а там я пересел в почтовую карету и с горя тихонько плакал в замызганном углу экипажа, не замечая дорожных рытвин и ухабов.

Дядя Ганс крепко обнял меня по возвращении, и мы просидели с ним до рассвета в моей комнате, тесно прижавшись друг к другу. Остались мы с ним одни из нашего старинного немецкого рода. Но мне надо было готовиться к переезду, и дядя Ганс, кажется, был взволнован моим новым назначением более меня самого. Он помог мне собрать немногочисленные пожитки и все наставлял и советовал, как мне поступать в том или ином случае. А после взял с меня страшную клятву, что я не буду ничего решать сгоряча и при любом конфликте с подчиненными кухонными работниками или (не дай бог!) с самими хозяевами буду прежде всего советоваться с ним. Юрий Федорович даже предоставил мне для переезда свой экипаж, и весьма возбужденный дядя Ганс проводил меня до нового места назначения.

Дворецкий в доме Бакуниных, имея распоряжение хозяина, поселил меня в прекрасной комнате большого кухонного флигеля. Два русских повара из крепостных встретили меня без особого восторга, но я, уже имея определенный опыт общения со своими собратьями в чужих домах, был к этому вполне готов. Как только стихло все в огромном доме, я отправился на кухню... От природы я всегда был человеком ответственным, а по молодости лет, конечно, весьма самоуверенным. Едва устроившись на новом месте, собрав всю многочисленную крепостную кухонную прислугу, включая работных баб и кухонных мальчиков, я заявил, что поскольку я теперь над ними первый начальник, то подчиняться они мне должны беспрекословно под страхом отправки в деревню, к которой приписаны. А там их, конечно, ждала незавидная судьба, зависящая от воли управляющего имением, который мог и на скотный двор отправить, и на конюшню, и высесть за любую пустячную провинность. Слушали они меня с заметным страхом в глазах и дружно кивали головами в знак согласия. И так дружно, что мне их даже жалко стало. Потом я оставил одних поваров и четко распределил меж ними обязанности по приготовлению еды для хозяев и слуг, и особенно угощений для званых обедов и ужинов, которые в этом доме случались почти ежедневно.

Поскольку основную нагрузку я взял на себя, не зная достоверно об умении каждого из поваров, то они довольно быстро успокоились и дали мне твердое слово, что будут обо всем советоваться со мной, по крайней мере на первых порах, пока я еще не знаю, на что способен каждый из них.

В тот же день я был приглашен к хозяину дома. Мы поговорили совсем недолго, но, кажется, оба остались удовлетворены встречей. Бакунин сообщил мне, что от господина Львова он получила самую лестную мою характеристику, а про мое кулинарное искусство, особенно по части приготовления кондитерских изделий, он и сам слышал немало лестных отзывов от своих знакомых и друзей.

Николай по-прежнему находился на военной службе, исполняя при том многочисленные и весьма ответственные обязанности курьера Коллегии иностранных дел. Не без очередного вмешательства Бакунина он принял наконец решение оставить военную службу.

И вот я снова держу в руках памятный аттестат Николая Александровича Львова. Переписываю следующие строки слово в слово:

«...1775 года 10 июля на поднесенном от означенного полку ее императорскому величеству докладе и на оной последовавшей высочайшею ее величества конфирмациею пожалован он Львов с прочими от армии капитаном и 1776-го 5 июня по прошению его, а по определению помянутой Коллегии в рассуждении знания его италийского, французского и немецкого языков принят в оную тем чином для употребления его на оных языках в переводах и других делах...»

Итак, с военной службой Николай расстался навсегда.

Долгие разлуки с другом меня весьма огорчали, но наша сердечная связь не прерывалась и в доме Бакунина. Мы по-прежнему были по-родственному близки, если он задерживался в Петербурге, мы опять проводили долгие ночные часы в тесном общении. Николай подробно рассказывал мне о своих делах, не вникая в служебные подробности, о которых мне знать не следовало. Я со своей стороны забрасывал его вопросами о неведомых мне в те годы странах, о людях, об их традициях и привычках. И конечно, о предпочтениях в еде. Это была моя постоянная просьба к другу — по возможности узнавать рецепты тех блюд и десертов, которые ему особенно понравились, если удастся — подробно их записывать. Особенно меня интересовало мороженое, которое так любила наша государыня. Из царского дворца любовь к этому novum в России десерту быстро перекочевала в знатные дома петербургских вельмож. Ума не приложу, где доставали рецепты его приготовления повара именитых господ. Привозили их под строжайшим секретом приглашенные французские и итальянские повара, но узнать их профессиональные тайны не было никакой возможности. Мне кажется, Николай сам вошел в свою роль, и какие-то тайны французского стола ему удалось выведать в Европе и даже кое-что записать. Он часто, смеясь, поговаривал, что если из него не выйдет путевый дипломат, то пойдет он служить ко мне в должности кухонного шпиона...

Его шутки задевали давно звучавшие во мне тайные струны. Дело в том, что я давно мечтал об устройстве собственного кондитерского предприятия. Но до недавнего времени это были мечты, основанные только на моей фантазии, они не имели под собой никакой реальной почвы. Но когда после смерти батюшки я получил весьма приличную сумму наследства и прибавил к нему свои собственные сбережения, то с природной немецкой педантичностью рассчитал на бумаге свои финансовые возможности и, к несказанной радости, понял, что мои мечты вполне могут стать реальностью. В своем деле я чувствовал себя вполне уверенно. Конечно, не обходилась эта уверенность от самоуверенности молодости, но без этого кто и когда начинал свое предприятие? Кстати, Николай сдержал свое слово и основам черчения меня научил. И даже дал мне несколько уроков по основам архитектуры.

Я лепил из простого теста гладкие шары, различные пирамидки, некое подобие античных храмов или замков, а мой друг либо беспощадно меня критиковал, либо исправлял то, что можно было исправить. А несколько раз даже похвалил! Так что архитектурные сооружения из мороженого или бланманже меня теперь нисколько не пугали, а все прочее я уже давно изготавливал безукоризненно и весьма легко осваивал новые рецепты выпечки, которые мне привозил Николай из Европы. Благодаря многочисленным гостям дома Соймоновых и тем паче Бакуниных мое кондитерское искусство стало весьма популярным в Петербурге. Меня наперебой приглашали на званые вечера в разные известные дома, и хозяева мои нисколько не возражали против того, даже гордились, что именно их кондитер славится среди столичных гурманов. Могу с гордостью добавить, что моя знаменитая кулебяка в двенадцать слоев и пирож-

ки «от Кальба», которые я выпекал с вареньем, грибами и капустой, к тому времени давно были известны не только в Петербурге, но и в Торжке, и в Тамбове, и в Вологде, и даже в Москве. Их развозили по губерниям разные люди: и господа, путешествующие из Петербурга по своим делам, и курьеры, и фельдъегеря, и даже ямщики. По прибытии на место назначения выпечка эта заворачивалась в горячие полотенца, разогревалась, и ее фантастический вкус от этой дорожной экзекуции нисколько не менялся.

Конечно, я знал, что в Петербурге то тут, то там открывались кондитерские, где торговали всякими сладостями и выпечкой навывнос. Но мне это было совсем неинтересно. Я мечтал не о том. Моя будущая кондитерская не должна была быть ни лавкой, ни магазином. Я хотел, чтобы она стала уютным местом в городе, где широкие удобные столы были бы накрыты вышитыми скатертями, куда днем приходили бы гувернантки с детишками попить ароматного чаю с разными вкусами, а по вечерам собирались бы друзья, меж которыми велись бы увлекательные беседы о самых разных сторонах жизни... Каждый посетитель, каждый желающий, мечтал я, с удовольствием проведет здесь время, читая не только петербургские газеты и журналы, но даже иностранные, которые я планировал выписывать из-за границы с помощью Николая. Впрочем, торговлю навывнос тоже можно оставить, лишние деньги никогда не помешают.

Поскольку жизнь моя в основном протекала на Васильевском острове, хоть и мало у меня теперь было свободного времени, но стал я заходить в разные мастерские успешных людей, которые, как правило, были немцами по происхождению. Заходил, осматривался, осторожно расспрашивал хозяина о том, как идут дела. Не всегда удавалось поговорить откровенно, на меня смотрели подозрительно, успокаивались только, когда я объяснял, кто я таков. Приходилось пускаться в ход дипломатию, которой в те годы я не слишком владел, привирать, что мне очень нравится это заведение, что много лестных слов слышал о владельце, ну и все прочее. Впрочем, мне довольно было осмотреться, перебраться парой фраз с приказчиком, чтобы многое понять и о многом догадаться. А каких только немецких мастеровых не было тогда на Васильевском острове! Они пользовались большим уважением у знатных персон за свою отличную работу, честность, порядочность, педантичность.

Портные, ювелиры, музыкальные мастера, лекари, аптекари... Даже немецкие мальчишки-трубочисты предпочитались заказчиками более других — ведь их надо было для работы впускать в свой дом...

Дядя Ганс со многими из них был знаком, изредка ходил к кому-нибудь в гости или приглашал к себе, когда получал заслуженный выходной или Соймоновы надолго отлучались из Петербурга, и на кухне было мало работы... Я попросил его свести меня с особенно успешными людьми. Он удивился, пожал плечами и согласился. Собравшись с духом, я рассказал дяде о своих планах, к которым он отнесся с явным недоверием. Но подумав несколько, вдруг сказал мне, что готов снабдить меня необходимой суммой, когда она мне понадобится. В разумных пределах, конечно.

Я расчувствовался, расцеловал его и от души поблагодарил. У дяди Ганса тоже были немалые средства еще с губернаторского дома в Тобольске. После смерти моего деда они поделили наследство своего отца пополам с моим батюшкой. Дядя Ганс получал достаточное вознаграждение в доме Соймоновых и жил у них на всем готовом. Он был одинок, скромен в своих потребностях и заверил меня, что с радостью поможет своему племяннику, единственной родной душе, в его весьма рискованном предприятии. Я понимал, что мне поначалу не хватит собственных средств, а брать в долг я мог только у дядюшки, но только в долг! Ни о каких безвозмездных тратах чужих

средств даже речи быть не могло. Дядя Ганс знал, что моему слову можно верить. На том мы и порешили. Я внимательно ознакомился со списком домов, выставленных на продажу на Васильевском острове. Два первых, которые я внимательно осмотрел, мне не понравились: находились они достаточно далеко, в глубине острова, и были какими-то неудобными и не подходящими для моего предприятия. А вот третий дом мне показался весьма привлекательным. Он был полутораэтажным, как тогда строили. Низ каменный, основательный, а сверху постройка деревянная, добротная. Внутри дом выглядел крепким, просторным, с высокими потолками, с многочисленными кладовыми, чуланами и глубоким чистым погребом, что мне было просто необходимо для будущего хозяйства. На первом этаже было несколько небольших комнат, которые я сразу решил объединить в большую залу. Более всего меня удивило, что хозяин дома был не только вполне обеспеченным человеком, но и весьма современным: все комнаты отапливались голландскими печами, отделанными скромным, но изящным изразцом. А на кухне, к моему несказанному удовольствию, была установлена удобная металлическая плита, украшенная причудливым чугунным литьем, которая, по словам хозяина, была приобретена всего два года назад... В общем, размечтался я по настоящему. Кроме всего прочего, находился этот дом на Кадетской линии. Можно сказать, в центре города. Он был совсем недалеко от дома Соймоновых, то есть по соседству с моим дядюшкой, и, как потом, к моей несказанной радости, оказалось, совсем рядом от моего будущего жилища, в которое я переселился в скором времени и счастливо проживал долгие годы. Я готов был купить этот дом немедленно, о чем тут же сказал хозяину, сопровождавшему меня. Но для окончательного решения мне нужен был совет Николая. Я не мог сдерживать улыбки, представляя его удивление, когда он услышит о моих планах, но ничего рассказать ему не успел: он опять надолго уехал сначала за границу, а потом в Черенчицы. Тогда, как говорится, зажмурив глаза и воззвав с молитвой к Всевышнему, я этот дом купил. Кроме дяди Ганса, об этом подвиге моем никто не знал.

Я продолжал служить на кухне у Бакуниных, готовил выпечку по приглашению в домах их друзей и знакомых, но теперь к своим заработанным деньгам я стал относиться серьезно, не то что в прошедшие годы юношеского легкомыслия. Я с нетерпением ожидал возвращения своего друга, но вернулся он из Черенчиц только к Рождеству с целой телегой гостинцев. Отдохнув от дороги, он со смехом рассказывал мне:

— Представляешь ли... Я только что из Парижа... Из самого Парижа! Заявился в Черенчицы во фраке и с белой пудрой, надо же было предстать перед родными в полном заграничном блеске! Матушка и сестрицы были от моего вида в восторге, а мужики наши от меня шарахались, как от пугала, шептались за моей спиной и пожимали плечами, явно опасаясь за мое здоровье...

Я сдержанно улыбнулся, поскольку был настроен на весьма серьезный разговор.

— Послушай, Николай... Вряд ли еще будет время поговорить... Мне нужен твой совет.

Уловив серьезность в моем тоне, он внимательно посмотрел на меня.

— Я слушаю тебя, дружище...

Довольно сбивчиво, но возбужденно я изложил ему суть дела. Признался, что уже купил дом, который в случае моей нерешительности мог быть куплен кем-то другим. Подробно объяснил, что дому этому нужна основательная переделка, чтобы в ней могла разместиться кондитерская моей мечты...

— Я очень рассчитываю на тебя, на твой опыт в строительстве, — закончил я свою пламенную речь. — Ты ведь не раз сказывал, что помогал в подобных делах то одному своему другу, то другому. И мне доподлинно известно, что все они были очень благодарны тебе за помощь и деловые советы.

Николай слушал меня потрясенный. Потом покачал головой и с улыбкой произнес:

— Ну, домовладелец, я поздравляю тебя. Тут ты меня перещеголял. Я о том и мечтать не смею. На строительство собственного дома у меня сейчас ни денег, ни времени нет. Конечно, я тебе помогу, и не только советами: я тебе людей подыщу, которые всю необходимую работу по переделке твоего дома выполнят. Есть у меня на примете такая артель, в ней умельцы честные, порядочные. Денег попросят ровно столько, сколько эта работа будет стоить. Сам за ними и надзирать буду, поскольку ты в строительстве ничего не понимаешь. В Петербурге я, видимо, задержусь надолго, меня Безбородко теперь от себя ни на шаг не отпускает. Видишь ли, императрица объявила конкурс на проект собора в Могилеве, где она только что провела успешные переговоры с императором Священной Римской империи Иосифом. Так вот Безбородко, который головой отвечал за организацию этих переговоров, еще более приблизился к императрице и теперь меня просто понуждает принять участие в том конкурсе. Он уверен, что если я решусь, то мой проект непременно станет лучшим.

— А ты что? Думаю, это предложение весьма заманчиво.

— Еще как! Но это — работа серьезная. Глубокая. Это ведь не просто красивую картинку нарисовать. Надобно все детали строительства продумать... Опыта у меня, ты знаешь, никакого, а участники этого конкурса — архитекторы давно известные. Мне с ними соревноваться боязно.

— Перестань, Николай! — горячо поддержал я друга. — От всего сердца желаю тебе удачи! Ты работай, а там как Бог решит.

— Да, Карлуша. Я тоже так думаю. Все в воле Божией. А работы предстоит много, — и, увидев мою разочарованную физиономию, добавил успокаивающе: — Дел у меня, правда, выше головы, но найдется время и для твоего дома. Обещаю твердо. Как я понял, Бакуниным ты ничего о своих планах пока не сказывал?

— Ни в коем разе! — замахал я руками. — Сейчас все идет прежним чередом. Пока дом не переделаю — мне деваться некуда. Ты тоже ни в коем случае им ничего не говори.

— Да уж ладно... У меня с Павлом Васильевичем и без того много тем для разговоров. Жди меня, Карлуша. Как только выкрою время, непременно осмотрим твой дом.

Должен я вам объяснить, любезные читатели, что, занятый своими грандиозными планами по организации собственного дела и ежедневными хлопотами в кухонном флигеле Бакуниных, я пропустил очень важный момент в жизни Николая. За это время из самого обыкновенного, хоть и весьма способного дипломата он вдруг стал начинающим, но уже известным архитектором. Я просто диву давался, когда вдруг понял, какая произошла с ним метаморфоза. На все мои вопросы, когда и где обучился он сему сложному искусству, мой друг только отшучивался и говаривал, что его учителем был сам Господь Бог, что научил он его нашествием Духа, и не только научил, но и повел за руку по сложной дороге строительства изумительных церквей, благословляющих силу Его. Видимо, так оно и было — Николай в благодарность Всевышнему за свою короткую жизнь успел построить множество церквей. И каких прекрасных!

Наверно, не все проекты своего друга я знаю, но даже из того, что я помню, устанешь перечислять: в самой Москве и Московской губернии, в самом Торжке и в Торжковском монастыре, в многочисленных торжковских имениях богатых людей, где господу вдруг все разом решили заменить свои полуразвалившиеся деревянные церкви на изящные каменные, на центральных площадях городов в Смоленской, во Владимирской, даже в Оренбургской губерниях — везде о замечательном зодчем Николае Львове память сохранена в виде прекраснейших храмов и скромных домашних церквей. Ну а про Петербург я вам, любезные читатели, даже стыжусь напоминать: пред вашими очами всегда стоит изящная церковь в имении Воронцовых в Мурино, что на

выезде из столицы, и очаровательный храмовый комплекс, который в народе тут же прозвали «Кулич и пасха», поскольку по внешнему сходству церковь и колокольня очень напоминают сии кулинарные изделия.

В самом начале карьеры Николая как архитектора ведущую роль играл Александр Безбородко. Он был дружен с Бакуниным, в доме которого и познакомился со Львовым, быстро разгадал его таланты и приблизил к себе.

Когда Никита Панин с почестями был отправлен в отставку, талантливый, вездесущий секретарь императрицы Александр Андреевич Безбородко занял ведущую роль в Коллегии иностранных дел. Я никогда не встречался с ним лично, но мельком видел его несколько раз в доме Бакуниных. Внешне он показался мне вовсе не привлекательным: какой-то неуклюжий, тучный, с отвисшими щеками, небрежно одетый. Но, как сказывал мне Николай, все серьезные международные переговоры велись теперь только при его организации и непосредственном участии. Львова восхищала поразительная работоспособность Александра Андреевича, который обладал феноменальной памятью и, между прочим, мог цитировать Библию с любого места. В общении с людьми Безбородко был приветлив, добр и щедр. Но в доме Бакунина я не раз слышал, что, несмотря на свои блестящие успехи на дипломатическом поприще и все большее доверие императрицы, в личной жизни он был не безгрешен: любил роскошь, имел слабость к женщинам, как ни странно, самой низкой репутации. Николай редко высказывался по этому поводу, но кое-что у него тоже проскальзывало. Не мне, обывателю, скромному труженику кухонного флигеля, судить о столь грандиозной личности. О Безбородко много памятных записок оставлено, кому будет интересно — всегда может с ними ознакомиться.

Итак, я терпеливо ждал. И вот однажды Николай приехал к Бакуниным в неурочное, утреннее время. В те времена, засидевшись с гостями до глубокой ночи, господа поднимались с постели поздно, крепко почивали по утрам и вставали не ранее двенадцати часов. В доме Бакуниных по утрам всегда было тихо. Николай вызвал меня из кухонного флигеля и сообщил, что часа на три он свободен и готов заняться моими делами. Я бегом вернулся на кухню, оставил вместо себя надежного своего собрата, с которым за прошедшее время подружился, быстро переоделся и выскочил на улицу. Время было ранней весной, и я был несказанно рад, что мой новый дом мы будем осматривать не при свечах, а при дневном свете. Николай ждал меня в наемном экипаже, и мы поехали на Васильевский остров.

Мой друг был бодр и деловит. И довольно посмеивался над чем-то. Он тут же начал мне рассказывать о своем новом приятеле Гавриле Державине, намного бывшем его старше. Гаврила Романыч был так же страстно влюблен в литературу, как и мой друг, недавно счастливо женился, получил в приданое дом в центре города, и вся литературная братия постепенно переселилась из дома Бакуниных в его гостеприимное жилище... Николаю Державин сразу полюбился, они крепко привязались друг к другу, и, как всегда у Львова бывало, привязанность эта продлилась всю его короткую жизнь, в конце которой стали они даже родственниками.

Но в тот момент я был поглощен своими делами, Державин меня не очень интересовал, а усмешка Николая даже обижала.

— И чего ты все хихикаешь, Николай? — не выдержал я. — Я тебе кажусь таким смешным?

— Ну уж нет! — он обнял меня за плечи. — Ты, Карлуша, в своих проектах великолепен. А хихикаю я, как ты изволил выразиться, над нашими делами с Гаврилой Романычем. Дела-то на самом деле вполне важные и серьезные. Он ведь служит по хо-

зайственной части и по должности своей надзирает над строительством зала общих собраний Сената. А мне по его ходатайству поручено составить описание аллегорических барельефов, что расположены по его стенам. Мы с Гаврилой только что были там. Стройка есть стройка: пыль, грязь, рассыпанная по полу штукатурка... Но барельефы выполнены вполне достойно, да только беда в том, что генерал-прокурору не понравилось, что Истина на них представлена обнаженной. Он приказал ее приодеть немедленно. — Николай громко расхохотался. — Ты представляешь? Гаврила страшно злится, а я не могу удержаться от смеха — в Сенате все точно так и есть: бесстыжая Истина и голая Правда должны быть всегда прикрыты...

Наконец мы остановились на Кадетской линии. Я очень волновался, у меня даже руки дрожали. Николай внимательно осмотрел дом снаружи, несколько раз обошел его кругом. Не произнес ни слова, слезал на чердак и проверил крышу, спустился в погреб. И только после этого вошел внутрь. Я со страхом ждал его приговора, но для себя решил: что бы он ни сказал, я от своего решения не отступлю.

Наконец приветливая улыбка появилась на его лице. Я облегченно вздохнул.

— Ну, Карлуша, от души тебя поздравляю. Хоть ты ничего не смыслишь в домостроительстве, но интуиция тебя не подвела. Дом вполне неплох. Конечно, в нем есть определенные изъяны, но их несложно устранить при ремонте. Теперь рассказывай, как ты хочешь свою кондитерскую здесь организовать...

Мы долго обсуждали, как будет устроена кухня, где и как я хочу расположить прилавок, где буду принимать посетителей... Николай обещал сегодня же составить подробные чертежи и план строительных работ. И хотя бы приблизительно прикинуть, сколько такая переделка дома будет стоить. На ремонтные работы деньги у меня еще оставались, а вот на организацию самого дела придется брать в долг у дяди Ганса.

Ну вот. А теперь, отвлекшись от рассказа о своих героических планах, я приступаю к описанию событий в нашей личной жизни — и моей, и моего любимого друга. Событий, которые в корне изменили существование каждого из нас.

Начну с того, что именно тогда, под влиянием Бакунина, несмотря на свою напряженную жизнь, Николай страстно увлекся театром, и не как дилетант, а как вполне осведомленный в этом искусстве человек. От него я узнал, что интерес к театру возник в наше время не вдруг и не на пустом месте. Оказывается, еще при Елизавете Петровне театральные представления были постоянным атрибутом всех столичных празднеств и торжественных приемов. Сама императрица была большая любительница театральных и маскарадных представлений, и присутствовала почти на всех любительских спектаклях в Шляхетском корпусе, и, по слухам, со смехом помогала кадетам, исполнявшим женские роли, наряжаться в дамские одежды... В конце семидесятых годов театральные ветер также прилетел в Россию из столиц Европы и полонил весь Петербург. Главным источником этого увлечения был императорский дворец. Здесь, в Эрмитажном театре, ставились любительские спектакли для избранной публики, приглашенной лично императрицей. Она сама написала множество пьес, некоторые из них я читал в доме Бакунина. Они носили более всего нравоучительный характер, но после позорного изгнания из Петербурга Калиостро и Сен-Жермена две пьесы имели сатирическую и обличительную цель, высмеивая этих жуликов и обманщиков. Вслед за государыней петербургская знать стала организовывать собственные домашние театры. Некоторые спектакли на этих сценах вызывали самые искренние восторги столичной публики, некоторые — иронию и насмешку. Но страсть к теа-

тру продолжала нарастать. Государыня более всего любила итальянские оперы. Ну что ж! Начали ставить в знатных домах и оперу, которая в те годы стала, пожалуй, самым популярным развлечением. Как правило, в домашних спектаклях были заняты все члены семьи, что теперь, я, как старый глава семейства, понимаю, было очень важно в воспитательном и просветительном отношении.

В доме Бакунина тоже ставились великолепные любительские спектакли, на которые собиралось немало страстных любителей театра. Среди них были старые мои знакомцы, в том числе любимый мною Василий Капнист, но было и достаточно людей, которых я видел в первый раз, но которые в Петербурге были личностями весьма известными.

Так, Дениса Фонвизина, нашего талантливого сочинителя, видел я в гостях у Бакунина только мельком несколько раз. Знаменитую его пьесу «Бригадир» мне подарил в списке Николай, и я зачитал ее, в самом прямом смысле, до дыр... Бывало, только начнет одолевать осенняя хандра или случится что-то неприятное на кухне, тут же хватаю сию пьесу, и плохого настроения как не бывало!

Но забегая далеко вперед, должен я поведать, дорогой читатель, о своей единственной встрече с этим великим мастером в доме Державина, которая произошла много лет спустя, в 1792 году. Литературному обществу Петербурга в те дни хорошо было известно, что Фонвизин давно и тяжело болен, по слухам, постигли его несколько ударов, в результате которых он был почти парализован и с трудом разговаривал. Но, как оказалось, продолжал работать! В тот памятный вечер я появился в гостях у Гаврилы Романовича в его любимом доме на Фонтанке совершенно случайно. Мы только что вернулись с женой и детьми из длительной поездки в Европу. Я привез Державину послание от его давнего французского друга и пришел к нему без предупреждения. К своему несказанному удовольствию, застал я у него многочисленное литературное общество. С большинством гостей был я хорошо знаком с молодости, кого-то видел впервые, и радушный хозяин тут же меня с этими господами познакомил. Меня забросали вопросами о последних новостях парижской жизни, я не успевал отвечать. Но вдруг Денис Иванович вошел к нам в кабинет, поддерживаемый двумя молодыми людьми. Одна рука его вовсе не действовала, и ногу он приволакивал... Слова он произносил с невероятным трудом, но сумел сказать, что принес для Державина свою новую комедию «Гофмейстер». Это известие произвело необыкновенное возбуждение среди гостей. Все начали просить разрешения прочитать ее вслух для всех присутствующих. Фонвизин не дал себя долго упрашивать, и кто-то тут же начал чтение. Комедия была очень смешна. Денис Иваныч, насколько мог, выражал своим видом чрезвычайное удовольствие, так же как и мы, он смеялся, но крупные слезы падали при этом на его грудь... Я очень сожалел, что Николай по своим бесконечным делам отсутствовал в тот вечер, после он очень печалился о том, поскольку это было последнее появление Фонвизина перед потрясенным обществом писателей, поэтов и знатоков литературы. Утром следующего дня мы получили печальное известие: нашего выдающегося писателя не стало...

Это мое грустное отступление я считал нужным привести, продолжая разговор о любви Петербурга к театру. Итак, я остановился на том, что домашние театры в домах знати развивались и множились.

Бакунин не отставал: решив устроить очередной домашний спектакль, он попросил Николая его поставить.

Вот тут-то и началась эта романтическая история, можно сказать, две романтические истории, развивающиеся почти параллельно: моя собственная, очень простая, обыкновенная и счастливая, и весьма сложная, запутанная любовная повесть Николая, ко-

торая спустя несколько лет бурно обсуждалась во всех известных домах Петербурга. Да прости меня мой любезный читатель — мне придется так или иначе перескакивать с одного повествования на другое: рассказывать то о любви Николая, то о моей собственной истории.

Итак, Николай с удовольствием откликнулся на просьбу своего патрона и поставил даже не один, а целых два спектакля, которые имели большой успех среди изысканной публики Петербурга. Сначала были поставлены комедия Реньяра «Игрок» и «опера-комик» «Колония», кажется, Антонио Саккини. Главные партии пели сестры Дьяковы, Машенька и Катрин. В комической опере «Колония» роль поселанки Белинды играла Машенька Дьякова, исполняя свою роль так хорошо, что спектакль ставился несколько раз. Я, по обыкновению, был занят на кухне, но видел почти все репетиции и, как прочие весьма искушенные зрители, вкуса которых можно доверять, был в восторге от пения Машеньки Дьяковой. Успех «Игрока» и «Колонии» был столь несомненный, что молодежь решила продолжить постановки, и следующей пьесой была избрана «Дидона» Якова Княжнина, лучшая из его многочисленных пьес. Героиней ее была дочь царя Тира Дидона, по римскому преданию, основательница города Карфагена, возлюбленная легендарного Энея, троянского героя. Машенька Дьякова в роли Дидоны была просто великолепна. По всему было видно, что ей очень нравился образ сильной, умной, горячо полюбившей женщины, отвергающей ради своего чувства союз с нелюбимым человеком, престол и свободу. В финале трагедии Карфаген охвачен пожаром, и Дидона кончает с собой, бросаясь в огонь. По Петербургу в знатных домах долго еще с восторгом обсуждали ее страстность и выразительность в этой роли.

Из пяти сестер Дьяковых Машенька была не только самой заметной девушкой, но и самой талантливой. И в молодости, и в зрелые годы она не отличалась особенной красотой, но было в ней что-то необыкновенно притягательное. Она всегда была проста и естественна в обращении, имела острый женский ум с известной долей лукавства...

И, конечно, не могло не случиться того, что случилось: они с Николаем полюбили друг друга... Общее дело, любовь к музыке и театру, спектакли, имевшие в Петербурге такой успех, очень их сблизили. Я не узнавал своего друга — он был все время радостно возбужден, глаза его горели, он часто говорил стихами, придумывая весьма смешные экспромты...

А теперь, мои дорогие читатели, должен я вам объяснить, почему романтическая любовь Николая оказалась накрепко связана с моей судьбой.

Начну с совершенно неожиданного отступления. В доме обер-прокурора Дьякова было шесть женщин — пять дочерей на выданье и жена. И потому он должен был заботиться не только о пропитании своего большого семейства, но и о туалетах своих дам. Выписывать платья из Европы, как делают господа в богатых домах, для всех шестерых было ему не по средствам, и потому испокон веку их обшивала весьма искусная русская белошвейка. Ей выписывали специальные модные журналы из Франции, шила она превосходно, и потому и девицы Дьяковы, и матушка их были всегда одеты по моде и к лицу. А была эта искусная белошвейка (я с полным правом берусь судить о ее умении, поскольку был сыном подобной мастерицы и понимал толк в ее ремесле) вдовой того самого Семена Григорьевича Вишнякова, знаменитого гранитчика и каменщика, что нашел знаменитую скалу в подножие монумента Петру Великому. Его артель долгое время была главной в Петербурге, славилась своим умением и оставила по себе неуываемый след в памяти благодарных горожан. Семен Вишняков был человеком семейным. Семья его не бедствовала: зарабатывал он немало. Да и жена его тоже на печке не сидела, обшивала в Петербурге многих знатных дам и господских дочек, за что ей весьма щедро платили. Особенно привязались к ней дочери и жена

обер-прокурора Дьякова, да так, что стала она своим человеком в их доме. Жили Вишняковы в любви и согласии на Васильевском острове, в собственном доме, крепком, добротном, удобном и теплом. Дом этот поставил сам хозяин, своими умелыми руками, блестяще владевшими плотницким ремеслом. Родилась у них долгожданная дочь, которую назвали Натальей, Наташей. Крестили девочку в день памяти великомучеников Натальи и Адриана, которые положили жизнь свою за имя Христово. И когда Наташа подросла, отец не раз, то ли шутя, то ли серьезно, говаривал ей, что она должна выйти замуж только за человека с именем Адриан... Все было хорошо у Вишняковых, да только случилась какая-то беда при разгрузке гранита, придавило мастера глыбой, и погиб он в полном расцвете сил, оставив безутешную вдову с юной дочерью Наташей на руках. Дьяковы не оставили в беде несчастную женщину, всячески опекали ее, а поскольку дочка ее Наташа уже овладела искусством матушки своей, то и ей работы в доме, где много женщин, всегда хватало. А тут пришла в Петербург мода на кружево. Кружево теперь было везде — роскошные кружевные салфетки и скатерти, которыми хвалились хозяйки богатых домов, плотными кружевными оборками отделявая глубокие декольте и края своих платьев. Мужчины щеголяли кружевными манжетами и, особенно, жабо... Кружева в сочетании с великолепной вышивкой золотом и серебром на одежде знатных персон вызывали зависть и желание подражать. В то время кружево плели многие женщины — не только крепостные девушки, но и мещанки. У жены обер-прокурора была родственница в Вологодской области, весьма богатая помещица. А Вологодчина в те времена гремела славою своих кружевниц.

Так вот родственница эта образовала у себя в имении целую кружевную артель и очень выгодно продавала купцам прекрасные изделия. Артель трудилась от зари до зари и приносила хозяйке имения весьма большую прибыль. И вот с согласия матушки Наташи Дьяковы отправили девушку в Вологодскую губернию к этой своей родственнице, надеясь, что в будущем обучение тонкостям кружевного дела пойдет всем на пользу — и семейству Дьяковых, и самой мастерице. Пробыла Наташа в той кружевной артели почти что год. Хозяйка имения была так ею довольна, что никак не хотела отпускать ее домой в Петербург. Наташа ведь не только кружевному делу здесь обучилась впервые, она и до того прекрасно вышивала сложные узоры золотом и серебром. А в сочетании с тонким вологодским кружевом ее изделия были просто сказочными. Но пришлось все-таки отпустить хозяйке вологодской артели свою новую мастерицу. Да только пока ехала Наташа домой, случилась беда: матушка ее попала под колеса кареты какого-то знатного вельможи, ехавшего цугом. И хоть кричал ей форейтор «Пади, пади!», не успела она отскочить в сторону и погибла, затоптанная копытами лошадей. Наташа едва успела на отпевание своей любимой родительницы... Осталась она полной сиротой, но, слава богу, при таланте кружевницы и вышивальщицы.

Дьяковы совещались недолго. Наташу все в доме любили — и господа, и слуги, она всегда была со всеми приветливой и ровной, всем старалась помочь и услужить. Особенно привязаны были к ней дочери Дьяковых, с которыми она еще в детстве в жмурки играла. А более всех любила ее Машенька. Всем большим семейством принято было соломоново решение — не может жить одинокая девушка в своем доме одна. Забрали сироту в дом обер-прокурора, выделили ей большую светелку на барской половине, и стала она у них жить в положении не совсем понятном: вроде бы и не родственница, но в почете и в уважении у хозяев, но и не горничная, хотя работает с утра до ночи. В зимнее время ей специальные канделябры и жирандоли ставили, масляные лампы зажигали, чтобы и темными вечерами работать могла. Впрочем, слуги быстро привыкли к ее особенному положению, в господских домах чего не бывает... А по рас-

поражению хозяина раз в неделю Наташа в сопровождении кого-нибудь из старших лакеев непременно посещала свой родительский дом, проверяла, все ли в нем в порядке. Дом этот, наследство родительское, вместе с немалыми денежными накоплениями батюшки и оставшимися доходами матушки были теперь ее приданым, за которым по любви к сироте зорко следил сам покойный ныне обер-прокурор Сената Алексей Афанасьевич Дьяков. Наташа не раз сказывала мне, что он был человеком весьма образованным, знал несколько иностранных языков, очень любил чтение, особенно исторических книг, и непременно обсуждал прочитанное со своими детьми за обедом в семейном кругу.

Так уж случилось, любезные читатели, что через год-полтора после описываемых событий стала Наташа для меня самым близким и дорогим человеком. Как узнал я от Николая, что ее имя означает «родная», так чуть не расплакался. Я не буду подробно рассказывать о развитии нашего романа — все получилось естественно, свободно и радостно. Пока готовились и репетировались спектакли, а особенно в те дни, когда шли представления, Наташа приезжала к Бакуниным вместе с Дьяковыми. Одевала, причесывала и украшала женщин, игравших различные роли в спектаклях. А тещательнее всех свою любимицу Машеньку. Поскольку она целые дни проводила в доме у Бакуниных, то и в кухонный флигель приходила обедать вместе со старшими слугами. В их черед. Там она мне и приглянулась: и грустными большими глазами, и доброй улыбкой, и всегдашней приветливостью... Но наш роман был самым обыкновенным романом двух молодых людей. Разве что мне следовало, прежде чем жениться, принять православие. Для меня это не представляло проблемы: я рос и жил среди русских православных людей с детства, еще в Черенчицах, присутствовал в храмах родственников и ближайших соседей хозяев на всех крестинах, венчаниях и отпеваниях, которые у них случались. Даже молитвы некоторые наизусть знал.

Я познакомил Наташу с дядей Гансом, они сразу полюбили друг друга, чему я был несказанно рад. Дядя Ганс нисколько не возражал против принятия мной православия. Мы с Наташей недолго выбирали день и имя святого, которое я должен был принять при крещении. Крестился я именем Адриан, как и желал ее батюшка. Наташа, получившая когда-то на именины в подарок от Дьяковых синодальное издание Житий святых, прочитала мне историю этой замечательной супружеской пары, погибшей от рук гонителей ранних христиан. Честно скажу, что подробностей повествования я не помню, но ко всем православным святым всегда относился со священным трепетом. А как крестился я, стали мы отмечать с Наташей именины в один день. Как ни странно, и я, и жена моя довольно быстро привыкли к моему новому имени. Общих друзей и знакомых у нас почти не было, если и забегали ко мне давние мои знакомцы, то им я объяснял вежливо, что, став православным, я сменил имя и теперь меня надобно звать не иначе как Адриан Францевич Кальб. Новые мои знакомые, с которыми я начинал общаться, другого моего имени и не знали. Только у Николая иногда срывалось с языка полудетское «Карлуша», но я делал вид, что того не замечаю. Дядя Ганс подчеркнуто величал меня только Адрианом.

Получив православное имя, я тут же отправился к Дьякову просить руки возлюбленной моей — более не у кого было. Мы с Наташей попросили его принять нас и, как только вошли в кабинет обер-прокурора, тут же упали перед ним на колени. Он чрезвычайно удивился, но когда я твердым и уверенным тоном попросил его благословения на наш брак, он просто просиял. Мы были знакомы с ним лично, я не раз по просьбе Бакунина приходил к нему в дом в дни больших приемов, помогая его поварам, которым не хватало умения в кондитерском искусстве. Алексей Афанасьевич в радости поднял нас с колен, сказал, что очень рад за Наташу и за меня, который по-

лучал от Бога такую прекрасную девушку... Наташа расплакалась, у меня тоже глаза были на мокром месте. Он благословил нас старинной иконой Пресвятой Богородицы, посетовал, что жена его нынче не в Петербурге и не может разделить с нами радость такого славного события. После того он призвал Машеньку, которая, как я уже ска­зывал, была особенно дружна с Наташей, и сообщил ей столь неожиданную новость. Для Машеньки новость эта была вовсе не новой: и Наташа ей много говорила про меня, и Николай в тайком переданных письмах сообщал... Но, как прекрасная актриса, выразила она на лице необыкновенное удивление и радость. Отец велел ей забрать счастливую невесту к себе, чтобы остаться со мной наедине и обговорить положенные в таких случаях формальности. Когда мы остались одни, он подробно расспро­сил меня о моих финансовых делах, о моих планах. Узнав, что я купил дом, где хочу открыть свою кондитерскую, он остался весьма доволен. После того он достал из глу­бины шкафа большую шкатулку и торжественно сообщил мне, что в ней находится Наташино приданое. Я знал, что оно немалое, но общая сумма меня просто порази­ла. Большая часть средств была в ценных бумагах, в которых я мало что понимал, но и наличных денег было фантастически много. Дьяков сказал, что теперь эта шкатул­ка моя и что он торжественно вручит ее мне в день нашего венчания. Я низко поклонился и нижайше просил его до этого решающего в нашей жизни события ничего Ба­кунину не говорить. Он понял все правильно и сказал, что предоставляет мне самому обсуждать свои поступки с хозяином дома...

Получив благословение от Наташиного опекуна, мы решили отложить наше венчание до осени, когда я надеялся закончить перестройку своего дома и получить сво­боду от бакунинской кухни. А после заключения нашего союза мы покинем прежние наши пристанища и переедем в Наташин дом.

Тем временем привязанность Николая к Маше росла день ото дня, и в конце кон­цов мой друг, часто бывавший в доме Дьяковых, решил просить руки Машеньки у ее отца. И тут же получил категорический отказ.

И Маша, и Николай были еще очень молоды, влюблены и не видели никаких пре­пятствий для заключения брака. Зато обер-прокурор смотрел на жизнь достаточно трезво. Дьяков только что удачно выдал замуж одну из своих дочерей, Катерину, за графа Стенбока, имевшего вокруг Ревеля богатые поместья; он принял предложение Капниста, посватавшегося к сестре Машеньки Александри­не. Капнист был богатым украинским помещиком, имел большой фамильный дом на Английской набережной... А Николай Львов — кто таков? Только мелкий помещик, у которого, кроме малень­кого отцовского имения, в те годы не было ничего — ни заслуг, ни денег. Отдавать за него самую любимую свою дочь не было никакого резона. Молодые настаивали, до­шло до настоящего конфликта: батюшка незадачливой невесты так разгневался, что не только отказал Николаю от дома, но и запретил дочери встречаться с Львовым где бы то ни было.

Это повеление грозного отца совершенно убило моего друга. После столь тяжело­го разговора пришел он ко мне, как всегда, довольно поздно и взглянул на меня свои­ми грустными влажными глазами.

— Что делать, Карлуша? Я завидую тебе! У тебя все так счастливо сложилось... Как назначите время венчания, тут же мне сообщи...

— Уж это непременно...

— Скажи, посоветуй, что мне делать? Утешь меня...

— Разве тут советами и утешениями обойдешься? Я бы не сдавался. Пережди ба­тюшкин гнев и через какое-то время сватайся вновь.

— Он опять откажет. Мне в ближайшее время богатство не светит...

— Это как Бог даст... Поглядим. А пока стихи пиши, подруге посвященные. Очень они у тебя сердечные получаются...

— Так я и пишу. Только они не столько сердечные, сколько плаксивые выходят. Вот слушай...

Николай откинулся на спинку кресла, прикрыл блестящие от бессонницы глаза и прочитал:

Мне и воздух грудь стесняет,
Вид утех стесняет дух,
И приятных песен слух
Тяготит, не утешает.
Мне несносен целый свет —
Машеньки со мною нет...
Воздух кажется свежее,
Все милее в тех местах,
Вид живее на цветах,
Пенье птичек веселее
И приятней шум ручья
Там, где Машенька моя.
...Если б век я был с тобою,
Ничего б я не просил, —
Я бы всем везде твердил:
Щастие мое со мною!
Всех вас, всех щастливей я:
Машенька со мной моя.

Несмотря на свою печаль по поводу разлуки с любимой, конкурс на проект собора в Могилеве имел для Николая счастливое завершение. Все представленные прочими архитекторами проекты были императрицей отвергнуты. Вот тогда-то тонкий дипломат Безбородко и показал ей работу Львова. Показал, настоял, убедил — проект Николая был принят государыней. Вскоре была организована поездка в Могилев на закладку храма, куда Николай Львов ехал в свите государыни. Он уже имел в дар от нее перстень с бриллиантами, за какие-то не столь ответственные свои архитектурные деяния, если мне не изменяет память, построил он что-то в Петергофе для наследников, а нынче сам император Иосиф подарил ему золотую табакерку, осыпанную алмазами.

С этого первого проекта, так счастливо одобренного императрицей, карьера Николая как архитектора круто пошла в гору.

Но, к сожалению, строительство храма в Могилеве затянулось необычайно: он был закончен только спустя пятнадцать лет, если не более.

Летом знатные господа Петербурга обычно разъезжаются по своим дальним имениям или ближайшим дачам, забрав с собой многочисленную челядь, и город заметно пустеет. Под каким-то надуманным предлогом сумел я избежать отъезда в имение с семейством Бакуниных, отправил с ним своего ближайшего товарища, которому вполне доверял, и почти всех своих кухонных тружеников. Обязанностями моими теперь было только кормить оставшихся немногочисленных слуг и наблюдать, как заполняются кладовые и погреба дома запасами на зиму. Наташа тоже отказалась от поездки в имение Дьяковых, сославшись на многочисленные заказы от петербургских дам, ко-

торые уже сейчас, в начале лета, готовят наряды к зимним балам. В общем, мы оба были совершенно свободны и могли встречаться и обсуждать наши планы в любое удобное время. Я приезжал днем в условленное время к дому Дьяковых, Наташа встречала меня у калитки небольшого господского сада, от которой у нее был ключ. Если погода не жаловала — был сильный ветер или накрапывал дождь, мы прятались в закрытой беседке, а если было тепло, то усаживались на широкой скамейке в саду и, держась за руки, обсуждали нашу будущую жизнь. К моему удивлению и, можно сказать, к счастью, у невесты моей оказался характер не слабее моего, и она давным-давно вынашивала планы, мало чем отличающиеся от моих: Наташа тоже мечтала организовать свое собственное дело, свою артель и стать независимой в своей жизни и делах. В ту пору в Петербурге немало портных и модисток имели свои мастерские в городе, но каждый из них занимался только своим узким ремеслом: портные шили платья и мужскую одежду, а модистки украшали их лентами, кружевами, тесьмой, бахромой и даже драгоценными камнями. Изготавливали по заказу мантильи, шали, накидки, вуали. Моя Наташа умела все — и шить платья довольно сложных фасонов, и украшать их более изысканно, чем делали это другие: ведь она великолепно вышивала золотом и серебром, плела тонкие кружева, умело украшала платья драгоценными камнями так, что изделия ее выглядели тонко, изящно и совсем необычно, что особенно привлекало ее богатых заказчиц. Я был счастлив, что наш брак, заключенный по обоюдной любви, решал для нее и многие вопросы чисто житейского свойства — ведь она будет теперь не одинокой девушкой-сиротой, которую всякий может оскорбить и обидеть, а замужней женщиной, у которой есть любящий муж и покровитель. Она знала, что от родителей остались немалые средства. Необходимую часть этих денег Наташа собиралась потратить на организацию своей мастерской и приобретения всего необходимого для работы. Она несколько не сомневалась в том, что заказы у нее будут постоянными. Мы вместе осмотрели ее дом, который мне очень понравился. Он был просторный и крепкий, с несколькими большими комнатами, в одной из которых моя подруга и хотела организовать мастерскую, сделав в нее отдельный вход с улицы, чтобы посетителям не надо было проходить через жилые комнаты. Конечно, кое-что в доме надо будет подправить и подремонтировать, но это были совсем пустячные дела, с которыми мы сможем справиться самостоятельно, не обращаясь за помощью к Николаю.

Лето подступило к концу совсем незаметно. Переделка моего дома была закончена. Мы с Николаем и с главным артельщиком внимательно осмотрели мою будущую кондитерскую. По моему впечатлению, работы были выполнены лучше, чем я мог ожидать. Николай тоже остался доволен. Я его поблагодарил, рассчитался с артелью и тут же договорился с плотниками о ремонте в Наташином доме, который теперь был и моим. Артельщики на мои условия согласились. После чего, вполне счастливый, я получил полную свободу действий. Как только Бакунин вернулся в Петербург из какой-то деловой поездки за границу, я тут же попросил его меня принять. Низко поклонившись, я поблагодарил его за доброе ко мне отношение в течение всех лет, проведенных в его доме, но попросил нынче же меня отпустить. Он поначалу нахмурился, решив, как я полагаю, что таким образом я прошу повысить мне жалованье. Но я поспешил откровенно рассказать ему обо всех своих делах и планах. Он внимательно выслушал меня, подумал и неожиданно заулыбался. Ему понравилось мое решение начать собственное дело, и вполне серьезно он спросил моего согласия присылать ко мне слуг за выпечкой и даже заказывать ее на свои званые вечера. Я заверил его, что как только начну работать в полную силу, тут же о том ему сообщу.

Вскоре мы с Наташей обвенчались в маленькой церкви в Гавани. Венчал нас совсем старый священник, такой же старый, как и его церковь. Он знал родителей Наташи

и крестил ее при рождении. На нашем венчании были только дядя Ганс, который как иноверец стоял в глубине храма, да Машенька с Николаем, которые были несказанно рады возможности встретиться по секрету от обер-прокурора. Таинством они вовсе не были увлечены, а все шептались за нашей спиной, держась за руки...

Следующий месяц прошел для нас с молодой женой в хлопотах по устройству нашего жилища. Мы любили друг друга и очень скоро научились разговаривать без слов: мне стало достаточно взглянуть только в глаза своей жене, чтобы понять, нравится ей, то что я придумал, или нет. Она точно так же понимала меня. Наташа очень спешила: у нее было несколько заказов от очень известных дам, которые необходимо было выполнить до сезона зимних балов, поэтому мы начали с устройства ее мастерской. Из дома Дьяковых было доставлено все имущество, что оставалось у нее в запасе: ткани, ленты, кружева, бахрома, целая коллекция блестящих пуговиц и еще что-то, в чем я мало разбираюсь. Мы приобрели два больших стола для рукоделия и два больших зеркала во весь человеческий рост. Дверь из новой мастерской на улицу вскоре была проложена и утеплена с большой тщательностью. Наташа вздохнула с облегчением — теперь она могла спокойно вернуться к работе. Она наняла несколько девушек себе в помощницы, и они дружно приступили к выполнению отложенных заказов.

Как только мы поселились в нашем общем доме, я тут же нанял кухарку — немолдую молчаливую чухонку, которая хорошо готовила, была очень чистоплотна и аккуратна, что для меня, немца, было весьма важно. Сторожа мне рекомендовал дядя Ганс. Это был крепкий, здоровый детина средних лет, которому я вполне доверял. Я оставлял Наташу под его надзором и в дневное время, когда она работала одна в своей мастерской, и поздними вечерами, когда задерживался по делам в своей будущей кондитерской. Все те же артельщики обновили по моей просьбе оконные рамы, утеплили сени дома, входные двери. Дело шло к зиме, и вопрос отопления нашего дома стоял очень остро. Я решил было установить в комнатах современные голландские печи и на место старой русской печки, занимавшей почти все свободное пространство кухни, поставить современную металлическую плиту, что было для меня весьма важно. Но спохватился я вовремя — насчет организации правильного отопления надо было непременно посоветоваться с Николаем. О его интересе к устройству печей я знал еще с юности. Знал и то, что у Львова подобный интерес никогда не был праздным любопытством: он вникал во все детали и в конце концов становился настоящим специалистом в той области, которой заинтересовался. Николай в то время был в Петербурге и на мою просьбу помочь с устройством печей откликнулся очень быстро. Прежде всего он зашел к Наташе в мастерскую, приветливо поздоровался с девушками и с ней и лукаво спросил.

— Ну что, Наташенька, друг мой, довольна ли ты своим сегодняшним положением? Довольна ли мужем своим? Не обижает ли он тебя?

Наташа засмеялась, нисколько не смутившись: с Николаем они были довольно коротко знакомы.

— Что вы такое говорите, Николай Александрович! Я сейчас так счастлива, как никогда в жизни! Дел у нас с Адрианом нынче много, но и то прекрасно!

Николай согласился.

— Это ты правду сказала: когда дел много — это прекрасно. Хуже всего без дела сидеть. А скажи мне, Наташа, что тебе более всего хотелось бы приобрести для успеха твоего дела? Может быть, какие-то приспособления для шитья?

— Я пока не знаю, — ответила моя жена. — Вот начну по-настоящему работать, тогда пойму, чего мне не хватает. Время покажет...

Николай задумался на минуту, потом вдруг сказал:

— Вспомнил я кое-что... Месяц тому назад был я в Париже, и потребовался мне модный галстук. Зашел я по этой своей надобности в модный магазин и увидел там необыкновенной красоты кукол разной величины — от самых маленьких до весьма больших. А куклы эти были одеты по последней женской моде в разные платья и выглядели просто великолепно. Подивился я этому чуду, но мне даже в голову не пришло спросить, можно ли такую вещь приобрести... Вот теперь как снова окажусь в Париже, непременно куплю для тебя такую куклу. Будешь ты первая в Петербурге, кто такую прелесть имеет.

— Что вы, что вы, Николай Александрович! Я про тех кукол давно знаю, видела давеча в новом французском журнале, который привез по моей просьбе из Франции опекун мой. У них имя такое необычное — «Пандора». Платья на них можно постоянно менять, показывать всем, на что ты способна в ремесле своем. Только вы даже представить не можете, какие бешеные деньги эта «Пандора» стоит!

Николай радостно засмеялся.

— Ну, Наташа, ты — прелесть! Я после могилевского храма нынче архитектор, что называется, нарасхват! Ты даже представить не можешь, сколько на меня заказов сразу навалилось! Знаешь ли, что я нынче богатею день ото дня! Сказал — куплю, значит, будет у тебя эта красавица «Пандора». Будет тебе мой подарок для счастливого начала твоего дела...

После приступили мы к главной цели его посещения. Внимательно осмотрев все комнаты, он тут же отверг мои планы по поводу голландских печей, согласившись только с заменой русской печи на современную металлическую плиту. Николай твердо пообещал мне, что, как только я эту плиту поставлю, он явится ко мне со своим знакомым инженером — блестящим специалистом. Они вдвоем все измерят и рассчитают и сделают в моем доме совершенно новую систему отопления, которой пока нет ни в одном доме Петербурга. Он начал мне подробно объяснять, что эта система неведомых мне воздушных трубок будет экономить нам с женой немалые деньги на дровах, поскольку других печей в доме не потребуется, кроме той, что будет топиться в кухне, что воздух в комнатах всегда будет теплым и свежим без всякого дыма... Но встретив мой недоверчивый взгляд, засмеялся и оборвал сам себя.

— Ладно, дружище, не буду мозги блестящего кондитера забивать всякой технической ересью... Все равно ты ничего не поймешь. Просто представь себе, что ты вышел летом из душного театра на просторный воздух — вот такое дыхание будет у тебя в твоём доме, в котором ты нынче при натопленных печах задыхаешься от духоты и дыма. Вот увидишь, через два-три года, ну, через пять во всех известных домах Петербурга будет только такое отопление! Верь мне — вот и все.

Я, конечно, поверил — и не ошибся. Конечно, мое обучение новому принципу отопления и его устройство требовали определенного времени и затрат, но мой друг был прав: в нашем доме теперь всегда было тепло, какая погода ни стояла бы на улице. А воздух в комнатах был свеж и днем, и ночью. Могу добавить, что через несколько лет я сделал такое же отопление и в своей кондитерской. Все посетители были в восторге и без конца приставали ко мне с вопросами что и как, на которые я, конечно, ответить не мог. Всех отправлял к изобретателю Львову.

Только лет через семь-восемь Николай подарил мне весьма полновесную брошюру с собственными чертежами под названием «Русская пиростатика», где подробно описал свое изобретение. Конечно, ни в чертежах, ни в тексте я ничего не понял, но как память о друге храню эту книжицу по сей день. Она была издана немалым тиражом, но, к сожалению, большого успеха не имела: старые привычки домоустройства преодолеваются у нас в России чрезвычайно медленно.

Поглощенный устройством своей новой жизни, я не сразу узнал, какие произошли изменения в жизни Николая. А случилось вот что: Александр Андреевич Безбородко все больше привязывался к моему другу, который становился ему просто необходим как блестящий, одаренный человек во многих областях. Секретарь императрицы, проделавший стремительную карьеру по служебной лестнице, был достаточно тонким человеком, чтобы понимать, что ему не хватает знаний, осведомленности в вопросах культуры и образования, таких, которыми обладал Львов. Теперь он был необходим графу не только как дипломат, но и как архитектор и помощник по устройству дома и дачи. Теперь Безбородко не отпускал его от себя ни на шаг. Как только они оставались наедине, он одолевал Николая вопросами о великих художниках и скульпторах прошлого. Львов, немало к тому времени поездивший по Европе и изучивший все известные музеи и дворцы — сокровищницы сих предметов, с удовольствием посвящал его во все тонкости искусств. Он много рассказывал мне о приобретенных его патроном огромных вазах из Рима — мраморных, с барельефами, о японском, китайском и французском фарфоре... В парадном зале дворца Безбородко стояли этрусские вазы и статуи Гудона, а также знаменитый мраморный Амур работы Фальконе. Но более всего поражала Николая Львова картинная галерея, все более увеличивавшаяся в размерах. Этими сокровищами Безбородко заполнял свой дворец бесконечно, вплоть до конца своей жизни. И всегда главным советчиком и консультантом был мой друг. Руководитель и подчиненный настолько сблизились, что Николаю было предложено переехать в роскошный дворец своего начальника, в «особые покои», о которых он и мечтать не мог. А поскольку Львову надлежало бывать по делам в течение дня в разных частях города, то в его распоряжение была предоставлена удобная карета. Отказываться от таких предложений было просто грешно, и мой друг переехал к своему патрону. Но при самых доброжелательных и даже приятельских отношениях они никак не могли быть близкими людьми: Николай имел характер строгий и аскетический, хотя и веселый. Образ жизни графа, легкомысленный и бурный, конечно, не мог быть ему по душе, хоть Безбородко и умел сочетать сложнейшую работу по дипломатической части с удивительной ветреностью... За свои «особые покои» Николай ничего Безбородко не платил, но был всегда дисциплинирован, исполнительен и обязателен в их общих делах и никогда Александра Андреевича не подводил даже в мелочах.

Тем временем моя будущая кондитерская все больше приобретала тот вид, о котором я мечтал. Прежде всего я повесил над входом большую вывеску «Кондитерская Кальба». Пусть люди привыкают, скоро-скоро я начну радовать их своими изделиями. Внутри уже был оборудован прилавок, мебельщики привезли три первых легких, но практичных стола и в таком же стиле по четыре стула к каждому из них. Я часто задерживался по своим делам в кондитерской допоздна, хоть и пусто было еще в ней, но всегда находились какие-то дела. Так произошло и в тот вечер, о котором я должен вам непременно рассказать, мой читатель. Я предупредил Наташу, чтобы она укладывалась спать без меня: мне давно следовало составить список инвентаря для кухни, который надо приобрести в первую очередь, и посчитать, сколько это будет стоить. Но по рассеянности, увлекшись своими мыслями, я забыл запереть дверь на улицу. Усевшись за стол в зале и зажегши одну свечу — свечи стоили для меня в то время очень дорого, их приходилось экономить, — я углубился в расчеты. И вот что у меня получилось. Кроме расходов на обустройство самой кондитерской, необходимо было нанять помощников: искусного повара, способного научиться тонкостям кондитерского ремесла, расторопную женщину, которая бы не только наводила порядок в моем заведении после того, как оно закрывалось, но и днем, по мере необходимости, мыла бы посуду и помогала в разных кухонных делах.

Нужен был и хороший истопник, который занимался бы нашими печами и в кондитерской, и в доме, поскольку находятся они в непосредственной близости... И сторож здесь в ночное время тоже был нужен. Все подчитав, я вздохнул, поняв, что, к сожалению, без финансовой помощи дяди Ганса мне не обойтись. И тут я вдруг услышал, что к моей кондитерской подъехала карета. Была уже глухая ночь — я удивился позднему гостю. Послышались сердитые мужские голоса, какая-то возня на пороге, немало испугавшие меня, потому что я вдруг вспомнил о незапертой входной двери. Впрочем, я почти сразу узнал голос Николая, которого очень давно не видел, и немного успокоился. Дверь с грохотом распахнулась, на пороге я увидел своего друга, который крепко держал за шиворот какого-то низкорослого мужичонку, громко шмыгавшего носом и жалобно подвывавшего.

— Привет, полуночник! — с какой-то полунасмешливой интонацией произнес мой друг. — Держи вора!

— Вора?! — поразился я. — Да тут пока что и красть нечего...

— Это ты так считаешь, а вот он думал по-другому...

Мужичок в руках Николая дернулся, пытаясь вырваться, но безуспешно.

— Стой, стой! Ты нам прежде расскажи, что ты хотел здесь своровать?

Мужичок всхлипнул и завыл. Только тут я понял, что Николай держал за шиворот мальчишку от силы лет двенадцати.

— Да объясни ты мне толком, что случилось?

— Изволь. Еду я в кромешной тьме по вашей Кадетской линии. Проезжаю мимо твоей кондитерской и вижу в окошке одинокий свет от свечи. Я, конечно, догадался, что это ты полуночицаешь, своими хозяйственными делами занимаешься, и велел кучеру свернуть с дороги. Подъехали. Выхожу из кареты и вижу, что на мансарде к окошку прилипло вот это чудо. Как он туда залез — мне не ведомо, но слезть никак не мог: высоко и боязно. Встал я внизу и велел прыгать. Он не то чтобы спрыгнул, но свалился со страху прямо мне на руки.

Я с недоумением смотрел на мальчишку.

— Так что ты здесь искал, скажи на милость?

— Я есть хотел...

— Есть?! Сейчас тут, кроме мебели, есть нечего. С чего ты взял, что тут есть еда?

— Так на дверях написано: «Кондитерская»... Я думал, что тут какая-никакая еда на ночь осталась...

— Так ты умеешь читать? — удивился Николай.

— Умею. В монастыре дьяки научили...

— В каком монастыре?

— В торжковском Борисоглебском...

— Так ты из Торжка?! — разом удивились мы.

— Да отпусти ты его, Николай!

— Ну вот... А теперь поведай, как тебя родители одного в Петербург отпустили? Ты не из крепостных ли будешь?

Освободившись от крепкой руки моего друга, мальчишка потрянул головой и выпрямился. Поняв, что ему никакая расправа не грозит, стал отвечать более внятно.

— Не... Мой батя в монастыре кузнецом был, а матушка белье монахам стирала. В кузне мы и жили. Да пожар прошлой зимой в кузне случился, я успел на улицу выскочить. А родители сгорели. Монахи меня при себе оставили, пожалели... Только мне с ними скучно было, и всегда голодный. В пост вообще одни сухари на обед. Вот я и сбежал... На почтовую станцию пошел, в первой же почтовой карете, что на Петер-

бург отправлялась, под всякими пакетами и узлами схоронился... Так здесь и оказался. Только есть-то все равно нечего — что в монастыре, что в Петербурге...

История получалась весьма занимательная. Думал я недолго.

— Знаешь ли, Николай... Идти мальчишке все равно некуда. Пусть он до утра здесь останется. Пару пирожков я с собой прихватил, чтобы при своих математических расчетах ноги от голода не протянуть, отдам тебе, парень, свое пропитание — цени, брат! На плите чай еще не успел остыть, кружку на полке найдешь. Пол возле печки теплый, прямо на пол и ложись, не помрешь, чай, на жестком полу. А утром мы с тобой подробно поговорим обо всем...

Я отвел мальчишку на кухню, отдал ему свои пирожки, показал, где лучше устроиться на ночь. Свеча моя догорела, и я зажег сразу две, чтобы лучше разглядеть своего друга. Вернувшись к нему, только тут я заметил, что он как-то особенно возбужден и что лицо его светится каким-то особенным, таинственным светом.

— И каким это ветром тебя занесло ночью на Кадетскую линию? Что-то случилось?

— О, Карлуша... Что случилось?! Знаешь ли, ведь часу не прошло, как я женился!

Я вытаращил на него глаза, не в силах задать ни одного вопроса. Впрочем, оно и не было нужно.

— Милый мой Карл Францевич! Ой, прости, дорогой, никак не могу привыкнуть к твоему новому имени — Адриан Францевич! Мы с Машенькой только что тайно повенчались!

И не дожидаясь моих расспросов, он поведал мне столь неожиданную, потрясающую историю своей женитьбы. Рассказал, что все придумал его первый друг и теперь будущий родственник Василий Капнист. Он повез Машеньку и свою нареченную невесту Александрин якобы на бал, а сам вместе того помчался с ними в своей карете в Гавань, в ту самую старушку церковь, в которой венчались мы с Наташей. Николай ждал их там, обо всем договорившись все с тем же древним священником. Венчание прошло быстро, Капнист повез сестер на бал, где в нетерпении их ожидал ничего не подозревающий обер-прокурор, а Николай, которому не с кем было даже поделиться своей радостью, возвращался по Кадетской линии во дворец Безбородко.

— Ты даже представить не можешь, чем Василий ради меня рисковал! Не дай бог, узнает его будущий тесть, какую роль он сыграл в моей тайной женитьбе!

— Да как ему узнать-то?!

Я крепко обнял его и поздравил.

— Все прекрасно! Конечно, я обещаю тебе, что эта тайна останется меж нами до тех пор, пока ты сам ее не откроешь для всех... Но как ты думаешь поступать дальше?

— Очень просто! — в запальчивости воскликнул мой друг. — Буду свататься! Снова откажет — подожду месяц — и опять посватаюсь. Надоест же батюшке отказывать мне безо всякой причины... Я богатею, друг мой Адриан, богатею и известность все большую приобретаю. Сдастся он когда-нибудь, никуда не денется! А пока что я должен найти время и, не мешкая, ехать в Никольское.

— В Никольское?

— Да, мой друг! Наши любимые Черенчицы теперь будут зваться Никольским... Матушка нисколько не возражала. Задумал я построить там новый дом, просто мечтаю о нем! В голове все вертится то один вариант, то другой... Я хочу его сделать таким... таким...

— Фантастическим?

— Нет — удобным. Чтобы все было рядом, все под рукой — и дрова, и вода, да мало ли что нужно для жизни... И за обустройство усадьбы пора приниматься. Сейчас мне надобно все на месте посмотреть, просчитать, промерить. Если Безбородко в бли-

жайшие дни отпустит — тотчас же поеду. Я теперь женатый человек и должен о своем семействе наперед беспокоиться. А тебя вот чем обрадую: дядюшка мой Юрий Федорович нынче в Конторе строений за освещение улиц будет отвечать, руководить расстановкой фонарей. Его дом-то из твоего окна видать. Я попрошу его, чтобы один из фонарей он поставил на Кадетской линии так, чтобы тот и подъезд к его дому освещал, и тебе от него тоже по ночам светло было...

Николай взял свечу со стола и повертел в руках, играя светом.

— Знаешь ли, друг мой... Я ведь люстру спроектировал с фитильными светильниками и резервуаром для масла. Нижняя часть сей люстры будет в виде полушария, — он очертил в воздухе полукруг, — вот этакое, чтобы масло не капало вниз... А сверху будет стеклянный зонтик, чтобы потолок комнаты не коптился...

Я недоверчиво воззрился на друга.

— Как только сделаю пару образцов для примера, один непременно тебе подарю. Хочешь — домой отнеси, хочешь — в кондитерской оставь. А как наладится производство сих изделий, во всех домах эти люстры будут использоваться. И дешевле это свечей будет, и удобнее, и светлее namного.

Наутро я долго беседовал с парнишкой, неожиданно оказавшимся в моей кондитерской. Так и не сумел он мне объяснить, что хотел найти в Петербурге. Когда у меня появились собственные дети, понял я, что в его возрасте все они так поступают — импульсивно, вопреки всякой логике и смыслу. Но сразу скажу: повезло не только Никитке, так звали мальчишку, но и мне. Оставил я его у себя по взаимному согласию. Кухонный мальчик мне все равно был нужен — и воды наносить, и дров заготовить, и в погреб сбежать, и муки из кладовой принести... Поселил я его в мансарде, в комнатухе крохотной, но очень теплой: через нее проходила труба от печки, которая топилась целый день. Были у него хороший соломенный тюфяк, ватная подушка, а также старенькие простынь и полотенце, которые по моему указанию кухарка меняла ему каждую неделю. Насколько я понимаю, мальчишке очень нравилось у нас, и вскоре он стал нам просто необходим: гоняли его с утра до вечера не только повар и кухарка, но даже я — ваш покорный слуга. Мой помощник Петр для нас всех, работников кондитерской, готовил сытные и вкусные обеды, при этом сам учился у меня искусной выпечке, а Никитка слушал мои объяснения и, как говорится, на ус мотал. Только через несколько лет понял я, что вместо одного надежного помощника заимел я двоих, которые своим искусством мне на пятки наступали.

Но с женитьбой Николая все вышло не так радостно, как ему мечталось, — тайный брак затянулся на три мучительных года. Не ведая правды, к Машеньке сватались женихи из влиятельных домов, отказывала она всем бесповоротно. А годы шли. По нашим меркам Машенька была уже немолода. А Львов при наших редких встречах сетовал мне:

— Сколько труда и огорчений скрывать от людей под видом дружества и содержать в предосудительной тайне такую связь...

С начала восьмидесятых годов Львов был занят безмерно. Я было совсем потерял его из виду. Мелькнул он перед нашими с женой очами только однажды, когда привез из Парижа обещанный Наташе подарок — знаменитую «Пандору». Была она средних размеров и понравилась Наташе чрезвычайно.

— Господи, — всплеснула она руками. — Какая прелестная кукла! И как вы, Николай Александрович, ее рост угадали — самый подходящий рост. Большая мне вообще ни к чему, а маленькую одевать неудобно. А эта!.. На ней можно все свое умение в шитье показать! Как я вам благодарна — слов нет!

— Так это еще не все, моя красавица! — засмеялся Николай. — Вот тебе целый альбом моих рисунков для шитья и вышивания. Будет и помощницам твоим настоящая художественная работа. Надо приучать наших дам одеваться красиво и со вкусом.

Он протянул Наташе толстый альбом, заполненный потрясающими рисунками. Наташа только открыла его — и просто онемела.

— Николай Александрович, ведь эта тетрадь больших денег стоит! Как мне отблагодарить вас?! — почти прошептала она.

— Да очень просто! — засмеялся наш друг. — Будешь мою жену обшивать и украшать ее платья вышивками по моим рисункам. Будет у нас с тобой своя артель...

В ту встречу и рассказал нам Николай о своих ближайших планах. Дело в том, что Безбородко убедил императрицу в необходимости создания отдельного Почтового департамента. Видимо, государыня и сама понимала, что почтовая служба требует особого внимания и срочного переустройства. А кто мог это сделать лучше самого Безбородко? Он тут же был назначен руководителем нового департамента, а Николай Львов — его правой рукой и, как официально именовалась его новая должность, «главным присутствующим в Почтовых дел правлении», оставаясь при том советником посольства.

И тут же встал вопрос об устройстве большого удобного здания для нового департамента. И по ходатайству того же Безбородко императрица поручила создание проекта нынешнего Почтамта Николаю Львову.

Как ни благоденствовал Николай во дворце Безбородко, который расчетливый и предприимчивый дипломат построил прямо по соседству со своим будущим департаментом, как ни удобно и вольготно было Львову в своих «особых покоях», все-таки, как все смертные, мечтал он о собственной квартире. Пусть даже и казенной. Новый проект Почтового департамента, который он должен был представить на суд императрицы, предоставлял для того ему полную возможность. Несколько просторных квартир для почтовых чиновников запланировал Николай в бельэтаже. Одна из них была самой лучшей, самой удобной, конечно, он мечтал когда-то поселиться именно в ней.

Как я уже сказывал, в последующие годы он был очень занят. Чем только Львов тогда не занимался, что только не волновало его! Со всей своей бешеной, иначе не скажешь, энергией возводил он по всей России настоящие дворцы в родовых господских усадьбах, да что там дворцы — целые архитектурные ансамбли с парками, беседками, садами, фонтанами, прудами, каскадами и затейливыми мостиками... Насколько я помню, за эти свои достижения в 1785 году избран он был почетным членом Академии художеств. Чуть ли не в том же году открыл Львов залежи каменного угля на Валдае. Между делом изобрел какие-то строительные лаки, толь и «каменный картон», как он его именовал. Только через Наташу, которая не теряла связь с домом Дьяковых и по-прежнему была наперсницей Машеньки, узнал я, что наконец обер-прокурор дал согласие на брак своей дочери с Николаем. Свадьбу было решено сыграть в Ревеле у мужа старшей дочери Катеньки, графа Стенбока. Ситуация была непростой. Собрались множество знатных гостей, было подготовлено роскошное празднество, но когда подошло время венчания, молодые открылись всем присутствующим, что они уже более трех лет женаты... Можно представить растерянность родителей и гостей. Но вышли из положения: срочно выдали замуж горничную, которой до того было в замужестве отказано. И пир был устроен на славу. После чего, задержавшись ненадолго в гостях (но даже тогда Николай зря время не терял — обследовал и изучил все старые замки и крепости в окрестностях Ревеля), молодые и счастливые Львовы тут же уехали в Черенчицы. Пробыв там достаточно долгое время, вернулись они опять во дворец Безбородко, который принял их, как всегда, радушно и приветливо.

Сия романтическая история много лет не исчезала из сплетен гостиных богатых домов. У многих она в памяти и сейчас.

Конечно, и я был занят своими делами, что называется, по горло. Успешно начала работать моя кондитерская. Внешнее ее убранство день ото дня становилось все привлекательнее. Девушки Наташиной артели для чайных столов вышли прекрасные скатерти и украсили их по краям плотными кружевами. Я специально съездил в Москву на самоварную фабрику купца Петра Силина, чтобы приобрести там только что появившиеся настоящие русские самовары. Мне подробно рассказывал о них Николай, внимательно изучивший их устройство в доме Безбородко. В то время в Петербурге они были в редких знатных домах и только начинали завоевывать свое жизненное пространство. Самовары Силина поразили меня, что называется, в самое сердце: были они украшены чеканкой, представляющей из себя этакий замысловатый цветочный или геометрический орнамент, на некоторых из них имелись накладные листья. Я заказал самовары с двумя носиками, чтобы ими можно было пользоваться двум собеседникам, не поднимаясь с места. Эту конструкцию я придумал сам, пока добирался из Петербурга до Москвы. Сам Петр Силин похвалил меня за фантазию и сказал, что непременно будет изготавливать среди прочих и такие самовары. Мы даже придумали с ним название для подобного изделия — самовар «têt-à-têt». Еще купил я у него и самовары-кофейни (кофий в моей кондитерской пользовался большим спросом), а к ним из того же сплава сахарницы, сливочники и кое-что из медной посуды... Когда наконец в моей кондитерской на каждом столе были водружены такие прекрасные самовары, понял, что мои мечты наконец-то приобретают вполне реальные очертания.

Но, любезные мои читатели, только не подумайте, что мой путь на кондитерский олимп был совершенно безоблачным и благостным. Особенно в первые годы самостоятельной деятельности на почве предпринимательства испытал я столько невзгод, что перечислять их было бы бесконечно долго. Прежде всего прилипли ко мне вору, кружились они вокруг моей кондитерской днем и ночью. Слава богу, мой неизменный сторож Влас, огромный мужик недюжинной силы, ловил их не только в момент совершения кражи, но даже предчувствуя ее заранее. Увидит, что ходит вокруг кондитерской некая личность, что-то высматривает, выглядывает, примеривается к окнам — тут же его за шиворот прихватит. Скажет пару слов кое-каких, и того человека более мы никогда не видели. Несколько воришек он во время попытки кражи изловил. Один из них всю ночь под замком в нашем амбаре просидел, а после Влас сам его в полицию оттащил и сдал в руки квартальному надзирателю. Другой перед ним на колени упал, прощения просил и клятву давал, что не только сам воровать у нас ничего не будет, но и другим велит на Кадетской линии не появляться. Но однажды напали на Власа настоящие грабители — оглушили сзади, связали, заткнули рот грязной тряпкой и обнесли нашу кондитерскую начисто. Украла все, что можно было унести: медную посуду, сахарницы, сливочники... Но бес их попутал — прихватили они и мой знаменитый самовар с двумя носиками. Вот это-то их выдало. Самоваров в Петербурге было — по пальцам сосчитать, а этакой необычный в те годы был только в моей кондитерской, о чем всему Васильевскому острову было известно. Я, конечно, в полицию о грабеже заявил, и бандитов тех очень скоро поймали именно из-за этого самовара, который они продать никому не смогли, — понимали люди, что краденый, и отказывались покупать.

И пожар у меня в кондитерской случился по недосмотру истопника. Слава богу, Влас вовремя дым в окошке заметил, потушил. А еще меня по неопытности поставщики обманывали, как могли. Один из них мне десять мешков муки привез, зараженной

червями. После доказывал, что она у меня самого в амбаре заразилась. Судились мы с ним долго, еле-еле сумел я вернуть тогда только малую часть своих денег.

У Наташи моей тоже случались серьезные неприятности, не без того. Однажды ее помощница по неопытности испортила уже готовое платье, загубила так, что исправить было невозможно. Женские платья всегда стоили немалых денег. А это было особенно дорогим, Наташа очень волновалась, пока его шила, а тут такое несчастье! Скандал был страшный. Заказчица визжала от возмущения целый час — ну, так что же — она была права... А потом муж ее приехал — еще тяжелее было объясняться. Девушка та, виноватая, в ногах у Наташи валялась, прощения просила. Была она сиротой, бедна как церковная мышь. Жила только на средства, которые ей Наташа за работу платила, — долг за это платье ей отдавать было нечем. Да разве в прощении дело! Махнула моя жена на нее рукой и выгонять не стала, только поставила ее в наказание на всякие мелкие работы вроде пришивания пуговиц и крючков... Пришлось Наташе шить заново это дорогое платье за свои кровные. Одни редкие заграничные ткани стоили бешеных денег. От первого шва до последнего платье то она из рук не выпускала, ночами не спала, боялась, что опять с ним что-то случится. Потихоньку загладили скандал. Хуже всего было то, что эта история произошла одновременно с грабежом в кондитерской, когда у меня даже посуды не осталось для приема посетителей, и пришлось торговать только навынос. Однажды, когда мы особенно приуныли после всех неприятностей, приехал Николай, совсем ненадолго оказавшийся в Петербурге. Выражаясь образно, слез наших он не вытирал и даже несколько не утешал. Дал несколько практических советов, оставил нам в долг на неопределенный срок большую сумму денег и уже в дверях произнес на прощание:

— Счастья тот лишь знает цену, кто трудом его купил.

Сделали мы эти его слова своим семейным девизом и, когда особенно трудно бывало, всегда его друг другу напоминали.

— Счастья тот лишь знает цену, кто трудом его купил.

Я упорно продолжал трудиться, и жена меня поддерживала во всем. Мне всегда хотелось придумать что-нибудь особенное из своей выпечки, совсем необычное, что могло бы заинтересовать моих посетителей, которых с каждым днем становилось все больше. Первые годы своего поприща я делал упор на немецкую кухню, поскольку, как я вам, любезные читатели, сказывал, в те годы немцев на Васильевском острове проживало и трудилось много. Мой баумкухен расхватывали тут же по мере приготовления. Приходили за ним и посыльные от разных мастеровых, и лакеи из домов знатных господ, а в дом Соймоновых я сам часто его отправлял, помня, что Юрий Федорович был большой любитель сего изделия. Скоро в Петербурге появились поваренные книги на немецком языке, и не премину с гордостью сообщить, что первым переводчиком этого издания на русский язык был именно я. Но постепенно стал я переключаться и на русскую кухню. Кое-что взял из французской и даже итальянской. Мы с моим помощником, молодым, но очень способным человеком Петром, стали выпекать пирожки и расстегаи по дням недели, каждый день по четыре особых сорта, каждому из которых давали шуточный девиз: «Что за прелесть», «На здоровье», ну и всякие другие пустяки. О всяких сладостях что и говорить: тут уж я давал волю своему воображению и мастерству. Я быстро научился готовить марципаны и прекрасный шоколад, из которого делал для детей разные смешные фигурки купидонов, рыцарей, зверей и птиц и даже портреты разных знаменитостей... Изготавливал причудливые корзинки из фруктов и цветов. Над приготовлением особых сортов мороженого пришлось изрядно потрудиться, но успех превзошел самые смелые мои ожидания. Зимой для хранения сего нежного продукта был у меня прекрасный ледник, а летом использовал я несколько больших специальных ящиков со льдом, прозванных в народе почему-то

«печкой». Мороженое в нем могло сохраняться целые сутки. Не миновало и двух лет, как я смог вернуть долг дяде Гансу. Теперь моя совесть была абсолютно чиста. Посетителей у меня становилось все больше и больше. После утренней прогулки заходили ко мне гувернантки с детишками, сразу шумно становилось в зале и весело. Днем меня посещали разные купцы и фельдъегеря, а вечером публика была особенной.

А Львов, несмотря на свою занятость, не прекращал литературные занятия и тесно дружил со всеми прежними товарищами. Состав кружка не был постоянным: к известным персонажам присоединялись новые лица, впоследствии ставшие в России известными литераторами. С тех пор, как поселился Николай у Безбородки, литературное общество переместилось в дом Державина. Но Гаврила Романыч вскоре был назначен губернатором Тамбова и уехал из Петербурга, и так уж случилось, что однажды осенью Николай Львов привез в мою кондитерскую все это прекрасное собрание. Было совсем поздно, мы уже хотели закрываться, как вдруг к крыльцу подкатило сразу несколько экипажей. И я услышал голос друга. Жизнерадостная компания мгновенно заполнила зал. Слуги мои закрутились, закипели самовары, на сдвинутые столы было выставлено все наше оставшееся после дня кондитерское богатство. И началась долгая, шумная беседа. Кто-то из пришедших был мне знаком еще с молодости. Кого-то я видел впервые, и Николай на ходу знакомил меня со своими новыми друзьями. В то время жил он во дворце Безбородко в своих «особых покоях» в одиночестве: Мария Алексеевна с маленькими детьми оставалась в Черенчицах-Никольском до зимы. Выглядел он неважно — сильно похудел и осунулся: на Валдае при добыче угля (о том будет в моих записках особенный рассказ) он сильно переболел, много работал физически и плохо питался, поскольку провизией его экспедицию никто не обеспечивал, но глаза его горели прежним огнем. Он был по-прежнему главным и в собрании литераторов, это было видно сразу. К нему обращались за советом, его мнение было решающим... Я отвлекался, чтобы дать нужные распоряжения своим людям, но теперь моя роль была совсем иной, чем в годы нашей молодости. Теперь я был хозяином заведения и принимал петербургское литературное общество как своих гостей. Я сидел за чаем в зале вместе со всеми, помалкивал, только слушал, впитывая как губка новые знания о литературе. Я хорошо помню, что в тот первый вечер было шумное обсуждение новой оды Василия Капниста под названием «Ода на истребление в России звания раба Екатериною Второю». Кое-что в этой истории я понимал. Николай еще несколько лет тому назад рассказывал мне, что Капнист со всей горячностью молодого негодования против окончательного закабаления украинских крестьян написал «Оду на рабство», которая получила достаточно негативную оценку при дворе, что грозило сочинителю большими неприятностями. Надо было как-то замять эту историю, и когда совсем недавно государыней был издан указ, повелевающий называть себя в челобитных «верноподданным» вместо ранее бывшего «раба», Василию Капнисту представилась такая возможность, и он написал новую «Оду», которая нынче так бурно обсуждалась его друзьями. Сам Василий уже несколько лет как оставил службу в Почтовом управлении, уехал в свое имение в Малороссии, где только что избрался предводителем Киевского наместничества. Добавлю только, что, по рассказам Николая, он послал только что изданное сие произведение Екатерине с надписью на обложке «Освободительнице России». Я не преминул при очередном приезде Василия в Петербург обратиться к нему с нижайшей просьбой подарить и мне, простому читателю, книгу и вскоре получил ее в подарок. Она долгие годы бережно хранится в книжном шкафу моего большого кабинета. Я хорошо помню некоторые строки из нее. Например, вот эти:

Россия! Ты свободна ныне!
Ликуй: вовек в Екатерине

Ты благодать Бога зреть должна:
Она тебе вновь жизнь дарует
И счастье с вольностью связует
На все грядущи времена...

Хорошо помнится мне еще одна встреча литераторов в моем заведении. В тот вечер главным человеком на нем был Иван Хемницер. Он был намного старше нас с Николаем, но, едва познакомившись, Львов и Иван Иванович крепко привязались друг к другу. Хемницер был человеком весьма добродушным, очень искренним и доверчивым. При этом имел он огромный рост и был страшно неуклюж. К тому же был ужасно рассеянным, чем давал поводы для многочисленных анекдотов. Рассказывали, что во время обеда он частенько вместо платка засовывал в карман салфетку, мог, услышав утром от кого-нибудь некую новость, днем рассказать о ней тому лицу, от которого ее узнал. Приятели любили потешаться над ним, но Хемницер никогда не сердился — он был незлобив, отходчив и сам не раз смеялся над собой. С Николаем они подружились прежде всего по взаимной любви к литературе. Иван Иванович был страстным любителем поэзии, но более всего обожал басни и сам весьма преуспел в них. Они словно соревновались в сем колком, язвительном искусстве... В то время потерял Хемницер прежнее место службы и остался совершенно без средств существования. Стараниями Львова был он назначен консулом в Турцию, в город Смирну. Это был его прощальный вечер в кругу литераторов. Помню, как кто-то из друзей воскликнул:

— Подумал ли ты хорошенько, что ты сделал? Да ты там без друзей с ума сойдешь!

В ответ Иван только грустно улыбнулся.

— Я эпитафию нынче ночью написал...

— Эпитафию? Кому?

— Себе самому...

И с той же грустной улыбкой прочитал:

Не мни, прохожий, ты читать: «Сей человек
Богат и знатен прожил век»!
Нет, этого со мной, прохожий, не бывало,
А все то от меня далеко убегало,
Затем, что сам того иметь я не желал
И подлости всегда и знатных убегал...

Иван Иванович уехал. Львов не забывал его, писал ему часто и много, иногда при встречах пересказывал мне его тоскливые ответные письма. Хемницер писал, что в Константинополе и в Смирне грязь, нечистоты, смрад, дохлые собаки и кошки на улицах, родовая месть среди населения, а у него — отсутствие денег. А письма от друзей, особенно от Николая, единственный для него праздник.

Непривычный для северянина климат, условия жизни, отсутствие близких людей сломали всеобщего добродушного любимца. Он умер весной 1784 года и похоронен в Смирне на лютеранском кладбище.

Друзья скорбели о нем и никогда не забывали. Его прекрасные переводы Лафонтена, собственные остроумные и необычные басни, в которых никогда мораль не давалась, что называется, в лоб, а вытекала из самого смысла, достаточно часто появлялись в различных изданиях, а цитатами из них пестрели многие газеты. Львов и Капнист в память о друге издали все известные его басни. Экземпляр этой книги бережно хранится в моей библиотеке. Иногда я цитирую басни Ивана Хемницера в качестве назидания своим детям. Особенно часто такие строки:

...Да полно, и в житействе тож
 О людях многие по виду заключают:
 Кто наряжен богато и пригож,
 Того и умным почитают...

Очень скоро вся петербургская литературная братия стала завсегдаем моего заведения. Часто приезжали на нескольких экипажах веселой толпой, приходили группами или вдвоем, мелькали старые знакомые и новые лица... Теперь я хорошо понимаю, как много мне дали эти литературные посиделки: они пробудили во мне страсть к чтению, интерес к книжным новинкам, любовь к поэзии. Все это я постарался передать и своим детям. Когда Николай наконец поселился в своей долгожданной квартире во вновь открытом Почтамте, собрания кружка стали проходить у него в доме, но привязанность литераторов к моей кондитерской нисколько не иссякла...

Тем временем и я, и Наташа трудились на своем поприще по мере сил и умения. Дела у моей любимой жены шли на лад. Вместе со своими помощницами работали они с утра до позднего вечера. Частенько к ней заходили дамы только затем, чтобы лицезреть красавицу «Пандору». Придут, бывало, покрутятся в мастерской, поглазуют, потрогают платье на кукле — и непременно что-нибудь из ее новомодного наряда закажут. Ну, а после, вполне довольные собой, по совету Наташи и мою кондитерскую осчастливят своим присутствием. Не только часок за кофе или чаем со сладостями проведут, но и домой заказ выпечки сделают...

И вот наступил час, когда жена моя со всей серьезностью сообщила мне, что ждет ребенка. Мы оба этой новости очень ждали. И были готовы к ней, но в тот момент я просто онемел то ли от счастья, то ли от внезапной ответственности. Теперь я отвечал не только за свою жену, но и за нашего малыша. Наташа посмеивалась, успокаивая меня, но видно было, что она взволнована не менее, чем я. Мы долго обсуждали, как нужно будет построить ее жизнь во время беременности. Решили, что на ранних сроках все будет идти по-прежнему, она будет работать наравне со своими девушками. А как станет ей труд сложен, возьмет еще одну помощницу, а сама будет только руководить работой, придумывать фасоны платьев и принимать заказы от дам. Чувствовала себя Наташа неплохо, правда, не обходилось и без случаев внезапной дурноты или головокружения, но мы считали их естественными. Я в подробностях расспрашивал молодых отцов из числа своих многочисленных знакомых, как у их жен протекала беременность, как проходили роды, как чувствуют себя новорожденные. Кое-что меня настораживало, что-то радовало. Но постепенно мы с женой привыкали к новым обстоятельствам семейной жизни. Время шло, и меня, и Наташу вдруг стал беспокоить ее непомерно увеличившийся живот.

А надо вам сказать, любезные читатели, что моя кондитерская к тому времени уже была известна за пределами Васильевского острова, и посетителями ее все чаще становились люди, проживавшие в самом центре Петербурга, которые оказывались на Кадетской линии по служебным делам или по родственным связям. Так однажды зашел случайно ко мне и некий известный в Петербурге доктор, как оказалось, один из самых лучших специалистов по «бабьему делу», как называлось тогда повивальное дело в России, позже получившее французское наименование «акушерство». Доктор имел попечение об одной знатной даме, жившей от моего заведения по соседству, и после очередного визита к ней зашел в известную в городе кондитерскую, о которой, как выяснилось позже, слышал немало лестных слов, удовлетворить свое любопытство и выпить кофе с какой-нибудь экзотической выпечкой. Я не знал, кто он таков, но внеш-

не мне очень понравился подтянутый, великолепно одетый господин с прекрасными манерами и приветливой улыбкой. Он с удовольствием закусил моими пирожками, после чего я сам подал ему что-то из своих вновь придуманных изделий, которые имели самые благоприятные отзывы посетителей. Мне было почему-то приятно сознавать, что я доставляю этим ему удовольствие. Гость мой учтиво поблагодарил и, узнав, что именно я владелец сего заведения, поднялся из-за стола и представился. Я онемел, услышав его фамилию. Полгода назад мне и в голову не приходило интересоваться специалистами повивального дела, но сейчас подобное знакомство было весьма кстати. Передо мной стоял не кто иной, как Нестор Максимович Амбодик-Максимович, первый русский профессор-акушер. Среди женщин, только что родивших или ожидающих появления малыша, фигура эта была самой популярной. Кто только не мечтал попасть под его опеку! Дамам казалось, что одна его фамилия дает полную гарантию благополучных родов и здоровья ребенка. Да что там дамам! Среди беспокойных мужчин, ожидающих скорого появления наследников, только и было разговоров о таланте этого доктора. Я поклонился и тоже назвал себя и пригласил доктора заходить в мою кондитерскую запросто при любой оказии. Потом я приказал Петру собрать доктору подарочную корзинку с разными сладостями, и когда он собрался уезжать, я проводил его до дверей. В первый день нашего знакомства у меня язык не повернулся задавать ему какие-то личные вопросы. Я очень надеялся, что Нестор Максимович станет моим постоянным посетителем. Так оно и случилось. Он приходил в разное время, то утром, то к вечеру. Дама, которую он пользовал в доме по соседству, вот-вот должна была родить, и его попутные визиты в мою кондитерскую стали довольно частыми. Не знаю почему, но личность моя показалась ему занимательной. Он часто просил меня освободиться ненадолго от дел и присесть с ним за стол. Я это делал с превеликим удовольствием, не теряя надежды, что в конце концов осмелюсь поговорить с ним и о своих личных проблемах. Нестор Максимович подробно расспрашивал меня о том, как я, немец, оказался в Петербурге, как сумел получить столь значительную финансовую самостоятельность... Я совершенно искренне ему отвечал. В ответ он тоже рассказал мне немного о себе, о своем обучении повивальному искусству в Страсбурге, рассказывал с таким юмором, что я не мог удержаться от улыбки... Однажды он пришел совсем рано, мы только что отперли входную дверь. С удовольствием позавтракав свежей выпечкой, он сказал мне:

— Я нынче прощаюсь с вами, господин Кальб. Дама, о которой я имел попечение, родила нынче ночью прелестную девочку. Моя забота ей более не нужна, в доме довольно всяких помощников. И на Васильевском острове у меня теперь никаких дел нет. Так что спасибо вам за прием и необычайно вкусные ваши изделия, всем знакомым буду рассказывать о вашем заведении самыми лестными словами.

Я вежливо поблагодарил и понял, что либо я сейчас задам ему свои вопросы, либо он исчезнет из моей жизни навсегда. На одном дыхании я выпалил ему все, что было у меня в голове. В отчаянии признался ему, что мы с женой ждем ребенка, ждем с радостью, но нас очень беспокоит ее непомерно большой живот... Услышав это, доктор стал серьезным, спросил, далеко ли я живу, узнав, что совсем рядом, только и сказал:

— Одевайтесь, господин Кальб. Мы идем к вам домой немедленно.

Он велел своему кучеру следовать с экипажем за нами, и через несколько минут мы были дома.

Нестор Максимович приветливо поздоровался с Наташей, которая даже не успела смутиться и испугаться: я не раз ее предупреждал о возможности такого визита. Они удалились для осмотра, а я в волнении присел в кресло. Я извелся в ожидании, мне казалось, что прошло очень много времени. Наконец доктор и Наташа явились пред

моими очами. Я вскочил с места, но увидев веселое лицо эскулапа и лицо жены, смотревшей на меня в какой-то счастливой растерянности, я застыл, ожидая объяснений.

— Я поздравляю вас, Адриан... Через пару месяцев вы станете счастливым отцом двух малышей.

Я онемел, Нестор Максимович рассмеялся.

— Да, двух! У вашей жены будет двойня, с чем я вас обоих и поздравляю. При осмотре я не увидел ничего угрожающего ни ее здоровью, ни здоровью ваших будущих наследников. Необходимые рекомендации по питанию я ей дал. Конечно, надо быть во всем аккуратной и не утомляться чрезмерно, при этом, думаю, все будет хорошо.

Я не сдержался и обнял жену. Она прослезилась, прижавшись лицом к моему плечу.

Я предложил доктору чаю, но он замахал руками.

— Что вы, что вы! Я ведь только что пресытился в вашей кондитерской!

От врачебного гонорара он тоже категорически отказался, сославшись на то, что я его постоянно угощаю бесплатно.

Но собравшись уходить, он вдруг спросил.

— Скажите, Адриан... Вы не возражаете, что я называю вас по имени?

— Нет, нет! Мне это очень лестно..

— Скажите тогда, что за удивительное отопление у вас в доме? Печей нет, и запаха дыма тоже нет. А воздух теплый и свежий постоянно, что вашей жене очень на пользу. Что за чудо такое?

— Чудо это изобрел мой друг детства Николай Львов. Это его особенная метода отопления.

— Львов? Это не тот ли Николай Львов, который нынче прославился как архитектор?

— Да. Он и архитектор, и литератор, и строитель... Какое ремесло или искусство ни назовете — все будет иметь к нему прямое отношение.

— Я много слышан об этом удивительном человеке и очень хотел бы с ним лично познакомиться.

— Так нет ничего проще! Николай очень общителен и к новым людям всегда любопытен, тем более к таким выдающимся личностям, как вы, Нестор Максимович...

— Не перехвалите меня, друг мой. Скажите, не тот ли это Николай Львов, о романтической истории женитьбы которого сплетничают в Петербурге?

— Да. Это именно его история. Нынче он женат на своей любимой девушке Машеньке, дочери обер-прокурора Дьякова.

— Вот как... Не та ли это Машенька Дьякова, что так прекрасно исполняла роль Дидоны в знаменитом спектакле у Бакунина?

— Она, она...

— Так я был на том представлении. Она действительно была великолепна в этой роли. Так как же мне найти вашего друга?

Я засмеялся.

— Нет ничего проще: они с женой живут во дворце Александра Андреича Безбородки...

Я проводил его до кареты. Прощаясь со мной, он сказал:

— На днях я пришлю вам свою помощницу. Она прекрасная повитуха и славный человек. Катерина Игнатъевна, так ее зовут, будет наблюдать вашу жену до самых родов и детишек ваших примет, когда время придет. Не волнуйтесь, все будет хорошо.

Легко сказать — «не волнуйтесь»! Конечно, я страшно волновался и за Наташу, и за наших детишек. Катерина Игнатъевна появилась у нас на следующий день и следила внимательно за здоровьем своей подопечной до самых родов. Последние три дня она вообще ночевала у нас в доме. Все прошло благополучно, хотя мне казалось, что пре-

жде, чем мои дети появятся на свет, я сам умру от волнения. Наташа родила мальчика и девочку. Это было просто замечательно. Дом наш огласился детскими криками. Срочно пришлось нанимать расторопную няньку. К счастью, Дьяковы не забыли о своей бывшей воспитаннице: няня появилась в нашем доме через день. Она была из крепостных обер-прокурора, уже в солидных годах, но опытная и ловкая. Мы отвели самую уютную комнату в доме под детскую, няня ночевала рядом с детьми, и по ночам мы редко слышали детский плач.

Наташа наотрез оказалась от кормилицы, решительно заявив, что пока у нее хватает молока для двоих малышей, она будет их кормить сама, а там будет видно.

Дети родились в мае, в самый Николин день. Сам Господь Бог дал имя нашему сыночку. К тому же это был день и тезоименитства нашего друга Николая Львова. А дочке дали имя Мария, в честь нашей любимицы Машеньки, Марии Алексеевны Львовой.

Доктор Нестор Максимович тесно сошелся с семейством Львовых, и не только по взаимной симпатии. Прошло чуть более года после появления на свет наших малышей, как и Машенька родила старшего сына Леонида. Всю беременность была она под наблюдением профессора, который навсегда остался ее близким другом. Года через два после Леонида появился у Львовых второй сын — Александр. Как хватало сил у Львова на все его бесконечные дела и открытия, как умел он совмещать любовь к жене и детям, устройство собственного быта и заботы о благе Отечества — до сих пор я так и не понял. Как я писал уже, мои любезные читатели, еще в юные годы Львов не раз имел продолжительные беседы с дядюшкой своим, в те времена бывшим главным директором горных и монетных дел Михаилом Федоровичем Соймоновым, о каменном угле и его разработке. Государство наше развивалось, вместе с ним развивалась промышленность, изобретались новые машины, паровые, гидравлические, «огневые» — они требовали громадного запаса топлива. Каменный уголь уже был хорошо известен, но, привезенный из Англии, он стоил очень дорого. Во время своих почтовых поездок по Валдаю Львов открыл залежи «земляного угля», как в те времена называли каменный уголь. Николай тогда писал мне с Валдая: «Я весь в угольной яме... уголь, который теперь пошел, на всякую потребу годен — не только что обжигать известь или кирпич и готовить кушанье, но металлы с удивительным успехом обжигает...»

Отправив уголь на барках, Львов вернулся в Петербург и немедля начал хлопотать о внедрении его в промышленность. Он предполагал, что уголь будет использован на казенных сахарных фабриках, на строящемся пушечном заводе в Петрозаводске... В Горном училище были проведены опыты по определению его качества. Николай с гордостью рассказывал мне, что оно было оценено очень высоко: валдайский уголь был не хуже английского. Львов подал «объяснение» в Коммерц-коллегию о выгодности добычи и разработки собственного русского угля, что, во-первых, сохранило бы от вырубки наши леса, а во-вторых, стоило бы государству значительно меньших затрат, чем оплата английского. Вскоре последовал высочайший указ, и Николай Львов стал официально добытчиком «земляного угля». Но с углем этим произошла весьма тяжелая история, если не сказать, трагическая. Столичные чиновники чинили препоны отечественному сырью, предпочитая уголь «аглицкий», спроса и покупателей на валдайский уголь не было. В отчаянии Львов сгрузил его на собственной даче, которую недавно построил рядом с Невским монастырем. Но у живущего по соседству купца случился пожар, который, истребив все хозяйственные строения, стоявшие на берегу, перекинулся на уголь, который никак не могли потушить. Он горел два года... Какие нравственные муки терпел при этом Николай, трудно даже представить. Львов так и не смог осуществить свою мечту заменить в России английский уголь валдайским. Снова и снова обращался он с этой идеей к сильным мира сего, но от него толь-

ко отмахивались. Он замолчал, но не смирился. Дел и помимо добычи угля у него было предостаточно.

Мы с Наташей были поглощены своими домашними делами — росли дети и, как положено малышам, требовали все большего внимания. За летние месяцы они окрепли и уже не так часто болели, как весной. Няня наша пока с ними управлялась, но все чаще мы стали думать, что очень скоро придется нам искать ей помощницу. Наши труды тоже требовали постоянного наблюдения. Наташа взяла еще одну вышивальщицу в свою артель и сама теперь от пошива платьев могла отойти. Оставила для себя чисто творческую работу, которая ей особенно была по душе: теперь она могла заниматься только придумыванием новых фасонов, особых, по рисункам Львова, видов вышивки и кружев, изысканных украшений драгоценными камнями... Но основное время она посвящала детям, поскольку кухней занималась наша чухонка.

Моя кондитерская тоже была успешна. Я не переставал думать и фантазировать о том, чем еще можно привлечь посетителей, чем развлечь их, чтобы принудить находиться у меня как можно дольше. Я начал выписывать всякие газеты и журналы, которые свободно лежали на столах и могли быть прочитаны любым гостем. Поначалу это были, конечно, петербургские издания, потом я умудрился выписать и французские, и немецкие. Они пользовались неизменным успехом. Даже гувернантки задерживались, не уходили, пока не прочитают свежие новости. А чтобы дети не капризничали, они заказывали им и себе еще чаю со всякими сладостями...

А зимой грянуло настоящее эпохальное событие, о котором подробно писали не только наши газеты и журналы, но и все заграничные издания. Петербург загудел, как встревоженный улей, и моя кондитерская неожиданно стала настоящим центром всяческих дискуссий и обсуждений новостей. Дело в том, что в январе 1787 года императрица отправилась в длительное путешествие в Тавриду. Как писали газеты, целью его была инспекция территорий, только что присоединенных к России в ходе войн с Турцией. В 1783 году Крым был объявлен российским. Эти земли были переданы под управление князю Потемкину, который и занимался организацией грандиозного похода около четырех лет. Конечно, я хорошо помню, что обещал вам, любезные читатели, избегать описаний знаменательных исторических фактов. И вовсе не хочу утомлять вас сведениями, которые вы и без моего участия можете почерпнуть в разных исторических источниках. Описанием сего путешествия кто только не занимался: и секретари государыни, и приглашенные послы, и частные лица. Кого интересуют подробности, всегда могут их найти в библиотеках или в старых газетах.

Но в данном случае мне трудно будет избежать кое-каких подробностей, поскольку мой друг Николай Львов по служебным обязанностям своим стал непосредственным участником сего похода. Он оставил о сем путешествии великолепные записки, после, когда я едва уговорил его дать мне их прочитать, я просто зачитывался ими. Постараюсь быть по возможности кратким при их пересказе.

В свите государыни по долгу своей секретарской службы находился неизменный Александр Андреич Безбородко, который не отпускал от себя Николая Львова ни на шаг. Конечно, они не ехали с императрицей в двенадцатиместной карете, запряженной сорока лошадьми (в этой изумительной карете был кабинет с обеденным столом на восемь персон, канцелярия, библиотека и даже (пardon!) отхожее место), но следовали за ней, как говорится, по пятам.

В каждом из городов, где по замыслу великого стратега князя Потемкина планировался отдых государыни, возводились настоящие Путевые дворцы, которые оснащались мебелью, посудой и столовым бельем. Стены их обивались разноцветной шелковой материей под цвет изысканной мебели, расписывались художниками, раззолачивались и украшались. Вот эти сведения имеют в моем рассказе главное значение.

Как я уже упоминал, верный друг и ближайший родственник Львова Василий Капнист в то время жил в Киеве и был предводителем киевского дворянства. Как после подробно рассказывал мне Николай, он встретил поезд императрицы во главе депутации дворянства и произнес соответствующую событию речь. Выполнив свой чиновничий долг, Василий оказался в объятиях Николая. Они были необычайно счастливы этой встречей и, что называется, отвели душу. Именно тогда впервые услышал Николай от Капниста имя Владимира Лукича Боровиковского — потрясающего художника, с которым, как всегда у него бывало, случайно завязавшаяся дружба продолжалась до конца его дней. В то время Боровиковского знали немногие лица в Киевской губернии: кого интересовал некий богомаз, вышедший из семьи богомазов. Открыл его как художника именно Капнист. Он с восторгом рассказывал Львову о талантливом самородке, по его рекомендации расписавшем великолепными аллегориями стены в кременчугском Путевом дворце. Как друзья оказались в этом дворце прежде государыни, я сейчас и не припомню, Львову не только понравились эти росписи, они его просто потрясли тонкостью живописи и совершенно непривычным взглядом на аллегорию. Путевой дворец в Кременчуге с великолепными росписями произвел на императрицу большое впечатление. По настойчивой просьбе Львова (от Безбородки она знала, что в кругах деятелей искусства звали его «Гением вкуса», и потому особенно прислушивалась к его мнению) она особенно внимательно изучила обе написанные Боровиковским аллегии. Они весьма польстили ее самолюбию. На одной из них был изображен Петр Первый в облике землепашца и она сама, засевающая поле... Другая аллегория изображала ее в образе Минервы в окружении семи мудрецов Древней Греции. Как и просил ее о том Николай, Екатерина согласилась встретиться с автором росписи. Встреча оказалась благотворной: Екатерина рекомендовала Боровиковскому ехать в Петербург и поступать в Академию художеств. Честно говоря, о том и речи не могло быть — Владимир Лукич был уже не первой молодости... Но решение о переезде в столицу было принято незамедлительно, и художник начал готовиться к отъезду, получив твердое обещание от Николая Львова всяческой поддержки.

Признаюсь, любезный читатель, что столь длительное мое отступление от основного повествования понадобилось мне только для того, чтобы объяснить, как появился в кругу Львова еще один замечательный человек — великий русский художник Владимир Лукич Боровиковский.

Императорский поезд вернулся в Петербург через полгода странствий. К счастью, вскоре после этого события был наконец достроен Почтовый департамент, и Николай Львов получил в нем прекрасную многокомнатную квартиру в бельэтаже. Счастливое семейство, с неизбывной благодарностью распрощавшись с гостеприимным хозяином Безбородкой, благополучно переехало под собственный кров. По случаю переезда был, как положено, устроен блестящий дружеский вечер. Мы с Наташей были приглашены на него в числе прочих гостей. Перед тем я отправил Львовым свой экипаж, заполненный до самого верха коробками и пакетами со сладостями и свежей выпечкой. А три «печки» с особым мороженым моего собственного изобретения, имеющим большую популярность в столице, я вечером вез в карете на своих коленях. В этой квартире одна за другой родились у Львовых еще три дочери. Семья была самая счастливая, и родители и дети просто купались во взаимной любви. Жили Львовы в полном достатке: в эти годы Николай был очень успешен и востребован по всем своим дарованиям. У них было немалое количество крепостных, слуг для работы по дому и для воспитания детей.

Двери этого гостеприимного дома всегда были распахнуты настежь: в нем постоянно кто-то жил, то ли из новых друзей, то ли из старых знакомцев. Часто и надолго

здесь останавливался Капнист, приезжавший в Петербург по делам или только для того, чтобы встретиться с друзьями. Про литературные собрания и не говорю: с этого времени, хоть и редко, но проходили они только в квартире на Почтамтской.

Боровиковский был уже в Петербурге, и Николай поселил его у себя. Он, как мог, поддерживал нового друга: художника в столице никто не знал, и только благодаря его ходатайствам Владимир Лукич получал заказы на росписи в построенных Львовым церквях и храмах. Знаю точно, что расписал он в Торжковском монастыре знаменитый Борисоглебский храм, возведенный также по проекту Николая.

Что до меня, то я познакомился с Боровиковским в доме Львовых. Владимир Лукич мне понравился с первого взгляда. Был он со всеми приветлив и доброжелателен, как после выяснилось, к деньгам относился довольно беспечно. Даже тогда, когда они стали словно прилипать к нему, нисколько не думал о будущем — посылал на родину в Миргород родственникам и друзьям огромные посылки, а по субботам раздавал деньги нищим. Владимир Лукич быстро сблизился со всеми друзьями Львовых, а главное — очень тесно сошелся с Левицким, с которым они были земляками. Добрейшей души человек, Дмитрий Григорьевич вызвался давать Боровиковскому уроки живописи. И в течение нескольких лет они работали в его мастерской, как говорится, бок о бок. Вот в это время и стал Боровиковский постоянным посетителем моей кондитерской — ведь дом Левицкого был по соседству. В первый раз они пришли уже к вечеру вместе. Оба выглядели усталыми, с покрасневшими от работы глазами. Я тут же велел своим людям оказать им самое большое внимание. Эти великие мастера попросили и меня присесть рядом и попить чаю вместе с ними, я был немало этим польщен. Вскоре художники немного отдохнули и разговорились. А Владимир Лукич, посмеиваясь, заметил:

— А знаете, Адриан Францевич, мне Дмитрий Григорьевич нынче рассказывал, как вы с ним над портретами младших смолянок работали... Он убежден, что только благодаря вашим вкуснейшим кренделькам и шанежкам он сумел такие шедевры живописи создать.

Я смутился не на шутку, но оба мастера так искренне рассмеялись, что мне ничего не оставалось, как засмеяться вместе с ними.

После этого случая Боровиковский заходил в кондитерскую довольно часто. Но совсем коротко я сошелся с ним только через несколько лет, когда он по моему приглашению поселился летом у меня на даче. Но о том будет рассказ особый.

Жизнь продолжалась. Машенька осталась по-прежнему самой главной заказчицей платьев у Наташи. Поскольку она то полнела до родов, то худела после них, дорогие платья нужно было постоянно перешивать и переделывать. А позднее и новые фасоны стали сильно отличаться от прежних, а Мария Алексеевна Львова всегда должна была выглядеть комильфо. Для того обе наши мастерицы пускали в ход всю свою творческую фантазию и изобретательность. Платья то украшались кружевами и вышивкой, то становились более скромными, уютными и домашними. Оттого что было у наших жен, помимо человеческой привязанности, общее дело, они были очень дружны. Имели от нас с Николаем какие-то свои тайные дела и секреты. Мы с моим другом только посмеивались и подшучивали над ними, когда они прятались в будуаре у Машеньки или в комнате у Наташи, когда Львовы изредка посещали нас.

С годами я благодаря своему профессиональному умению приобретал все большую известность и уважение среди людей состоятельных и весьма влиятельных. Меня знали обыватели не только Васильевского острова, но и всего города. Выбирали меня неоднократно на общих собраниях и на всякие ответственные должности, с обязанностями своими я всегда справлялся исправно. И все же моя жизнь постепенно теряла для меня привлекательность. Кондитерская моя процветала, и в конце концов

я совершенно отошел от дел, поскольку и мой первый помощник Петр, и поумневший и возмужавший Никита прекрасно справлялись и без меня. Ну а я... А я вдруг заскучал. Не улыбайтесь, пожалуйста, мой любезный читатель, я сейчас все разъясню. Скучно мне стало оттого, что я про дело свое теперь все знал, никаких сюрпризов более от него не ждал — в денежных делах, так же как и в кондитерских, стал недюжинным специалистом и мог просчитать все наперед, избегая убытков в прибыли. Я завидовал Николаю с его неистощимой фантазией в том, что голова его была всегда занята какими-то новыми фантастическими планами. У меня же все шло по проложенному когда-то руслу, никаких тебе открытий и новшеств... Тужил я, тужил, тосковал-тосковал и вдруг заболел идеей, о которой даже Наташе не сразу решился сказать. Решил я, друзья мои, открыть свой ресторан. Вот именно — ресторан. Надо признаться, что несколько заведений с этим громким названием уже существовало в центре города. Я не раз посещал их. Но рестораны эти были все одно, что трактиры: было в них шумно и неуютно, народ пришлый, совершенно непонятный, сновал туда-сюда, да и кухня была какая-то пестрая: ни образа конкретного, ни стиля... А про убранство зала и обеденных столов и говорить нечего. И чем я больше думал о собственном таком заведении, тем более представлял, каким оно должно быть, каким я его хочу видеть. У меня был богатый опыт в организации образцовой кондитерской, которую за долгие годы существования ни один конкурент в Петербурге не мог перещеголять: ни по замыслу всего предприятия, ни по уюту в зале, ни по моей фирменной выпечке. И ресторан я возмечтал открыть в таком же стиле, чтобы все в нем было по самому высшему разряду, начиная от зала, уюта, какой-то особой выдумки для привлечения гостей (какой — я пока и представить себе не мог) и по вышколенному поведению всех слуг... Ну, а самое главное — конечно, кухня. Мечтал я на этот раз кухню представить преимущественно из русских блюд, для приготовления которых был у меня в наличии мастер высокого класса — мой родной дядя Ганс. Хоть и постарел он изрядно, но имел голову совершенно ясную и прекрасные руки кухонного умельца. А тут еще подлил он, что называется, масла в огонь: сообщил мой любимый дядюшка, посетив нас с Наташей недавно вечером, что его хозяин, уважаемый Юрий Федорович Соймонов, на неопределенно долгое время должен по своим служебным делам уехать в Москву и хочет забрать с собой своего личного повара. Но дядя Ганс на старости лет не хочет переезжать в чужой город. Старик был совершенно потерян и расстроен, пришел ко мне посоветоваться. А у меня даже дух перехватило — так все прекрасно может сложиться: в моем ресторане будет первоклассный повар. Конечно, дядя мой уже стар, но я подыщу ему хороших помощников, которыми он будет руководить, и Бог даст, кто-то из них займет со временем его место... Ни ему, ни жене ничего пока говорить не стал, но пообещал дядюшке позаботиться о нем и непременно найти выход из ситуации, если он решит остаться в Петербурге.

Но мечты о ресторане упирались в самую главную проблему: он должен был находиться в доме, который еще предстояло построить. В том-то и была для меня самая главная загвоздка. Это было для меня почти непреодолимым препятствием. А тут на нас с Наташей вплотную надвинулась еще одна серьезная проблема, о которой лет этак пять-шесть назад мы даже и помыслить не могли. А дело-то было самое житейское. Наши дети росли, росли и требовали для себя все большего жизненного пространства. Они теперь жили в разных комнатах, постепенно увеличилось количество слуг, няньки сменились гувернером и гувернанткой, появились учителя... И старый уютный дом Наташиных родителей стал трещать по швам. Наш родной дом становился теснее день ото дня. Летом нас спасала дача, которую я купил по соседству с дачей Львовых, заплатив немалые деньги за уцелевший от пожара дом тому самому купцу-

погорельцу, но к зиме наше многочисленное семейство со всей челядью опять оказывалось в тесноте на Кадетской линии. Жена моя все прекрасно видела, но молчала. Лишь однажды, когда горничная, столкнувшись с ней на узкой лестнице, вылила на ее платье кувшин с водой, Наташа, ни слова ей не сказав, только разрыдалась. Тогда я и решил, что пора нам поговорить обо всем серьезно. Мы просидели почти всю ночь. Наташа понимала, что родительский дом надо оставить ради нашего семейного благополучия, но для нее это было очень тяжелым решением. Она плакала, а я успокаивал, вот так и проговорили много часов. Тогда я и решился ей сказать о мечте своей. Жена слушала меня очень внимательно, как всегда, все поняла без лишних объяснений. И мы приняли решение о строительстве нового трехэтажного дома. В первом, полуподвальном этаже размечтались расположить ее артель, где девушки уже давно работали без непосредственного участия хозяйки, на втором, в бельэтаже, будет мой ресторан, а на третьем — просторная наша квартира. Я решил просить Львова составить проект дома, который мы только что придумали с Наташей.

На следующий день, не откладывая дела в долгий ящик, отправил я человека к Юрию Федоровичу Соймонову с нижайшей просьбой принять меня в удобное для него время. Человек вскоре вернулся и сообщил, что Юрий Федорович нынче дома и готов меня принять. Я заторопился к нему. Дело в том, что именно Соймонов до отъезда в Москву отвечал за строительство частных домов по четной стороне Невского, которое было совсем недавно разрешено. Я твердо решил построиться именно там.

Юрий Федорович принял меня в своем кабинете. Внимательно выслушал и... неожиданно отговорил от какого бы то ни было строительства на Невском, объяснив, что это очень хлопотно, очень дорого, а самое главное — долго.

— Я вам одну мысль подам, — по-доброму улыбнулся он. — Нынче на Миллионной улице наследники продают дом купца Еремеева. Мне кажется, он вам подойти может по всем признакам: дом двухэтажный, весьма вместительный и в центре города. Еремеев-то для себя строил, и, насколько я знаю, сам Николай Львов ему отопительную систему в доме проводил по своему проекту, который вам прекрасно известен. Купец ни дня в нем не успел пожить, вскоре помер, а наследникам дом оказался не нужен, вот и продают. Я сегодня же справки наведу и вам сообщу, как с ними связаться. Если о цене договоритесь, то, поверьте мне, это для вас большая удача будет. Насколько я понимаю, вы ведь и кондитерскую в новом месте захотите открыть, не оставлять же ее на Кадетской линии, про артель вашей жены я и не говорю... Это будет вам легко сделать: по соседству с домом Еремеева большой доходный дом наполовину пустой стоит, там можно хоть мастерскую вашей жены открыть или хоть ту же кондитерскую...

Я был очень признателен Соймонову. Вскоре сделка с наследниками дома была совершена, денег мне хватило в обрез, и я тут же выставил на продажу свою кондитерскую, за которую рассчитывал получить хорошие деньги. Но продажа ее должна была занять достаточное время. Когда я сообщил своему преданному помощнику Петру, что хочу продать кондитерскую и открыть ресторан, он остолбенел и несколько минут не мог произнести ни слова. Решив, что он испугался, что я его выгоню на улицу, я стал убеждать его, что мы будем, как и прежде, работать вместе, и Никиту я тоже заберу с собой. Но Петр, придя в себя, сообщил мне такое, что теперь я онемел от неожиданности. Дело в том, что этого кухонного умельца когда-то рекомендовали мне знакомые повара из Воспитательного дома, куда он попал в младенчестве. В Воспитательном доме многим ремеслам обучали, но Петруша прилип к кухне, да так и провел в ней все отроческие годы, а потом вообще остался там в качестве повара. Мне сказывали, что действительно о его родителях ничего не известно, но, по слухам, он дитя очень важного

сановника, такого важного, что я даже предположительно называть его опасаясь. На имя Петра приходили в Воспитательный дом большие суммы на протяжении всех лет, что он числился воспитанником, и Петр об этом знал. А месяц назад явился к моему помощнику некий стряпчий или душеприказчик, разве поймешь?! Так вот этот человек сообщил, что благодетель Петруши почил в бозе и оставил ему огромную сумму в наследство. Вот такая история. Петруша мой долго не мог переварить эту весть, никому не сказывал, помалкивал, но, так же как и я в старые времена, размечтался открыть собственное дело. Строил планы и пока не решался советоваться со мной, не зная, как я отнесусь к такому известию. Ну, а тут я с продажей кондитерской... Петр чуть не на колени передо мной встал, умоляя продать ему наше детище и оставить его здешним владельцем. Обещал, что вывеску сделает не «Кондитерская Кальба», а «Кондитерская по рецептам Кальба»... Вот такие дела! Мы тут же обговорили с ним все наши финансовые дела, и сделка, счастливая и выгодная для обоих, была произведена. Запнулись мы только на судьбе Никитки. Петр-то даже представить не мог, как он с ним расстанется, был он для него, не имеющего никакой родни, как младший братишка. За прошедшие годы превратился озорной Никитка в серьезного кондитера Никиту Иваныча. Парень был непростой, заметный, с острым, умным взглядом, достаточно образованный — не зря монахи Торжковского монастыря над его детскими мозгами потрудились. Молоденькие гувернантки на него засматривались, когда выбегал он по службе из кухни в зал. Про его способности кондитера тоже много лестных слов можно сказать: кое в чем он не только Петра перещеголял, но даже и меня иногда поражал своей фантазией. Позвали мы Никиту, объяснили ему, в чем дело, и напрямик спросили, с кем он хочет остаться. От неожиданности он было совсем растерялся. Но, подумав немного, выбрал меня, поскольку считал, что многим мне обязан. Я очень тому обрадовался, не ровен час, мог обоих своих помощников потерять, на которых так надеялся.

К сожалению, Николай, хотя и был в то время в Петербурге, помочь мне никак не мог. В семействе Львовых в то время наступили тяжелые времена, о которых я расскажу чуть позже. Я не смог показать другу свой новый дом. Но в ответ на мое письмо он подробно описал тонкости строительства этого здания, в благоустройстве которого принимал самое деятельное участие, его достоинства и недостатки. Отопление и в самом деле устраивал он непосредственно и заверил меня, что с этим у меня проблем не будет. Мы с Наташей стали готовиться к переезду. У нас сложился четкий план: в доме на втором этаже будет наша квартира, большая, многокомнатная, с отдельным входом для прислуги и с несколькими комнатами для нее в мансарде. А внизу мы расположим Наташину артель. А в соседнем доходном доме на втором этаже будет мой ресторан... Кстати, сразу сообщу вам, любезный читатель, что эта идея была счастливой. Дело в том, что в этом доме находилась творческая мастерская наставника Боровиковского художника Лампи. Владимир Лукич бывал здесь почти ежедневно и, как только мы переехали на Миллионную, частенько стал захаживать к нам в гости. В конце девяностых годов Лампи уезжал из России на родину в Австрию и оставил Владимиру Лукичу свою прекрасную мастерскую, где Боровиковский и поселился, и мы оказались самыми ближайшими соседями.

Покупатель на наш семейный дом нашелся достаточно скоро: известный в Петербурге ювелир, тоже немец по происхождению, живущий на Васильевском острове, пожелал его приобрести как можно скоро. Его очень устраивало отдельное помещение, где располагалась Наташина артель, нравилось, что оно имеет отдельный вход. Он мечтал здесь оборудовать свою удобную ювелирную мастерскую. Мы быстро сговори-

лись. Вскоре наше семейство переехало на Миллионную улицу и начало обживать новые большие и удобные комнаты, в которых и мы с женой, и дети наши чувствовали себя прекрасно. Через некоторое время я смог вплотную заняться своим рестораном.

А Николай Львов, как всегда, занимался самыми разными серьезными делами, совершенно не связанными между собой. «Неугомон» — звала его любящая жена.

Как зеницу ока долгие годы берегу я пожелтевший от времени листочек, на котором мелким, острым его почерком вот такие стихи:

Зачем? Да, мне зачем метаться?
 Мне — шаркать, гнутья и ломаться?
 Лишь был бы я здоров и волен.
 Я всем богат и всем доволен.
 Меня всем Бог благословил:
 Женил и дал мне все благое.
 Я счастье прочное, прямое
 В себе иль дома находил.
 И с ним расстаться не намерен.

Наш любимый архитектор строил и проектировал по всей России, редко бывал и дома, и в Никольском, а любимая его жена Мария Алексеевна отчаянно скучала без него. Вместе с детьми она уезжала на все лето в имение, где с хозяином и без присутствия оного вовсю кипело строительство, и оставалась там до глубокой осени. Мы с Наташей неизменно получали приглашение пожить в разгаре лета в Никольском. Недавно я нашел пожелтевшей от времени листок — чудом сохранившийся отрывок письма Марии Алексеевны, датированный 1788 годом. Она писала нам: «Знаете ли вы, что ваш Николай Александрович совсем ныне заспесивел и уже со мною жить не хочет. Я живу одна, а он все по графам и князьям и по их прислужницам разъезжает. Да это мне не больно. А больно то, что вы меня бросили в Никольском совсем одну...»

Ну, разве не разжалобишься от таких слов!

Оставив свои дела на надежных помощников, мы с благодарностью откликнулись на приглашение, чем приводили в восторг и собственных детей, обожавших эти поездки, и детей Львовых, встречавших нас радостными криками и восторженным визгом.

А Никольское сказочно преображалось на моих глазах: старое имение меняло свой облик. Целых десять лет положил Львов на преобразование родных Черенчиц, ставших Никольским. Это было его родовое гнездо, здесь он ни от кого не зависел и был архитектором, строителем, инженером, садоводом, художником — все в одном лице. Но ведь это была и моя вторая родина, я очень близко к сердцу принимал все преобразования в ней. Постепенно выравнивался ландшафт, особая дренажная система осушила древнее болото, то самое, в которое мы с Николенькой провалились когда-то в детстве, вместо него образовался целый каскад прозрачных прудов, украшенный оригинальными статуями. Я не устаю повторять, что мало понимаю в архитектуре и в тонкостях строительства, но знаю точно одно: Львов умел превращать обычные хозяйственные постройки в барских усадьбах в нечто фантастическое, небывалое прежде в России. И прежде всего — в Никольском. Чудную кузницу, например. Знаете, как она построена? Из разноцветных валунов с арками, напоминающими античную руину. Внутри все как положено: горн и наковальня, склад для угля, теплая комната для кузнеца, навес для подковывания лошадей и еще что-то — не помню... Но как фантастически смотрелись внутри кузницы стены из валунов, когда по ним скользили блики от кузнечного горна!

А мой любимый потрясающий погреб-ледник! Этакая кирпичная, облицованная камнем пирамида, разделенная фантазией архитектора на три уровня. Верхний — словно парковая беседка, освещенная сверху окнами в куполе, так любимыми Львовым. Здесь прохладно в любую жару, и мы, друзья Львовых, любили пить там чай в полдень и вести долгие беседы. Ниже, на втором этаже, круглое просторное помещение с отдельным входом. Там всегда стояли огромные бутылки с прекрасным вином, которое производили в Никольском под зорким присмотром хозяйки имения. Вино это имело славу не только в Торжке, но и в ближайших губерниях и приносило Львовым немалый доход. А внизу — собственно ледник, глубиной метров десять. Николай придумал использовать в нем не зимний лед, коим забивались подобные сооружения в русских усадьбах, а природные грунтовые воды. За лето они накапливались в огромном резервуаре, а зимой промерзали до самого его дна... В этом леднике любые продукты могли храниться длительное время. Я сам не раз, приезжая в Никольское, готовил для хозяев и многочисленных гостей большие запасы мороженого, которое оставлял на хранение в этом леднике. Мы с удовольствием поедали мой десерт порой в течение нескольких дней.

Это не все фантастические постройки Николая, были и другие — один дровяной сарай с колоннами, фронтоном и портиком чего стоит! А еще оранжерея, ветряная мельница, скотный двор, конюшня...

Но вот наконец приступил мой друг и к постройке долгожданного дома. Матушка его Прасковья Федоровна, Мария Алексеевна с детьми, а также и мы, многочисленные и бесконечные гости, устраивались пока в старом деревянном доме, а рядом, что в присутствии хозяина, что и без него, пока он был в служебных разъездах, всю кипела стройка — возводился дом-дворец архитектора Львова. Я несколько не иронизирую: для Николая его собственный дом в Никольском был именно дворцом — в два с половиной этажа, с бельведером — ажурной беседкой на крыше, из которой можно было лицезреть прекрасную панораму вокруг. Столько сил, энергии, фантазии, инженерного гения было в него вложено! Основная идея создателя — это комфорт! Комфорт и удобство — вот главные его девизы. Мы, друзья Львова, посетив Никольское несколько раз, уже ничему не удивлялись, но не переставали восхищаться: и водоподъемной машиной, которая доставляла воду в бельэтаж, и знаменитой львовской системой отопления, при которой воздух в доме был всегда не только тепел и чист, но и разносил по комнатам запах свежих роз. А чего стоили уникальные обои в гостиной, сделанные Марией Алексеевной из соломы и расшитые цветной шерстью! Меня, повара, просто в восторг приводила паровая кухня, где паром вращался огромный вертел и сама собой мылась посуда...

Когда я вспоминаю прекрасные дни и вечера в Никольском, в кругу друзей Львовых, рядом с самыми дорогими для меня людьми — Николаем и Марией Алексеевной и всеми нашими детьми, которые были здесь же, рядом с нами, то у меня... Нет, не слезы наворачиваются. На моих губах невольно возникает грустная улыбка. Да. Улыбка! Как ни тяжела для меня утрата Львовых, но сколько ни суждено мне прожить, светлая память о них никогда не исчезнет в моей душе.

У меня сохранилось стихотворение Николая, посвященное этому счастливому периоду нашего общего существования. Я храню его как зеницу ока:

Я истинно, мой друг, уверен,
Что, ежели на нас фортуны фаворит
(В котором сердце не всюю зачерствело)
В Никольском поглядит,

Как песенкой свое дневное кончив дело,
 Сберемся отдохнуть мы в летний вечерок
 Под липку на лужок,
 Домашним бытом окружены,
 Здоровой кучкою детей,
 Веселой шайкою нас любящих людей,
 Он скажет: «Как они блаженны!»

Ах, какие это были замечательные вечера! Мы, друзья Львовых, наезжали толпой, «веселой шайкой», как любил нас называть хозяин усадьбы. Как-то так получилось, что именно в это время во львовско-державинском кружке собрались любители музыки, да не просто музыки, а музыки русской, народной. Как всегда, это увлечение пошло от Николая. Как-то раз, когда после долгой разлуки мы уединились с ним в его кабинете, он показал мне несколько толстых исписанных тетрадей.

— Знаешь ли ты, о инородец, что в них?

— Нет, конечно, — улынулся я.

— Так вот... Здесь более двухсот записанных мною русских песен. Это такая сокровищница, такая... Ведь именно в этих песнях открывается самый дух людей прежних времен и такие яркие картины старой жизни! Но представь себе — все эти сокровища никто и никогда не записывал! Я первый!

— Двести песен! — я был потрясен. — Когда же ты успел?!

Николай засмеялся и пожал плечами.

— Ты думаешь, я знаю? Я ведь тысячи верст по России исколесил — и везде эти песни слышал, записывал на почтовых станциях, у ямщиков в долгом пути, во время деревенских гуляний... А потом я ведь не просто эти песни записал, я ведь их на ноты положил. Это, между прочим, труд непростой: это тебе не итальянский вокал, надобно очень постараться, чтобы в чьем-то фальшивом исполнении услышать мелодию. А вдруг моя попытка собрать и записать эти напевы каким-то новым лучом осветит музыкальный мир?

В те годы Николай особенно сблизился с Петром Вельяминовым, которого знал еще по службе в Измайловском полку. Петр Лукич недавно был отставлен от военной службы, вел довольно безалаберную, кочевую жизнь и подолгу жил в Никольском. Как я уже сказывал, часто бывал здесь Василий Капнист наездами из Малороссии, появился в нашей компании и совсем еще молодой Иван Крылов... Петр Вельяминов и Василий Капнист прекрасно пели народные песни. Им всегда аккомпанировал на гуслях Боровиковский. На мой неискушенный взгляд, виртуозно играл на скрипке Крылов, он был самоучкой, кроме скрипки, сумел овладеть еще несколькими инструментами... У Николая был оркестр из сорока восьми крепостных музыкантов, которые играли на народных инструментах: гремушках, дудках, жалейках, свирелях, рожках...

Помню шуточное стихотворение, написанное по этому случаю Николаем:

Я сам по русскому покрою
 Между приятелей порою
 С заливцем иногда пою...

Едва заканчивалось пение, наступал черед танцам. Признаюсь, любезные читатели, мне, немцу, как ни странно, с детства особенно были любы разудалые пляски крестьян. Помню, мы с Николенькой по праздникам убегали в деревню, сидели где-нибудь в сторонке прямо на траве и часами наблюдали, как водят хороводы девушки и ка-

кие выделывают коленца в плясках мужики. Я просто диву давался — откуда что у них бралось: ведь только несколько дней назад они от зари до зари, не разгибаясь, трудились на господских полях или на винокурне, а сейчас выглядят такими сильными и красивыми... Любовь к русским пляскам осталась у меня на всю жизнь.

— Лиза, Даша, — не выдерживал я. — Потанцуйте!

— В круг, в круг, — подхватывали мою просьбу остальные.

И на освободившееся на поляне пространство выходили две прелестные юные девушки-цыганочки. Они тоже были из крепстных, как и музыканты, но имели от всех отличие в том, что умели удивительно плясать, как тогда говорили, «по-русски». Мне казалось, что девушки эти сами имеют огромное удовольствие от своего умения. Они не заставляли себя просить, а тут же выходили в круг и начинали плясать, сначала в медленном темпе, а потом все более и более ускоряя пляску, точно попадая в такт музыки. Это доставляло несказанное удовольствие всем, бывшим здесь, да такое, что даже Гаврила Романыч Державин в одном из своих стихотворений, посвященных вечерам у Львовых, написал вот такие строки:

...Пусть Даша статна, черноока
И круглолицая, своим
Взмахнув челом, там у потока,
А белокурая живым
Нам Лиза, как зефир, порханьем
Пропляшут вместе казачка,
И нектар с пламенным сверканьем
Их розова подаст рука.

Николай забрал этих девушек из Никольского в город, взяв на себя обязательства об их воспитании. Они служили у Львовых горничными и были очень привязаны к своим хозяевам. Не отходили от постели тяжело заболевшего Николая, он умер на руках у Лизы.

Не могу удержаться, чтобы не добавить еще вот что. Когда Львов окончательно переехал в Москву, а затем и в Никольское, Боровиковский переселился в гостиницу и очень скучал летом в опустевшем Петербурге. Я пригласил его к себе на дачу, и он с радостью принял мое приглашение. Длинными, светлыми вечерами я поднимался к нему в мансарду, где он поселился, куда перевез свои мольберты и где трудился целыми днями. К изобразительному искусству я не имею никакого отношения, единственным моим просветителем в этих вопросах был Николай, в пору нашей юности обучавший меня лепить замки и дворцы из теста и крема... Давнее общение с Левицким при создании портретов смолянок тоже сыграло свою роль в моем художественном образовании. Но, как ни странно, мое невежество не смущало Боровиковского: он показывал мне миниатюрные портреты случайных знакомых, писанные маслом на картоне, меди, цинке и дереве... Недавно он закончил портрет императрицы на прогулке. Любезным моим читателям он прекрасно знаком — на нем изображена пожилая дама, одетая по-домашнему, прогуливающаяся осенью в парке со своей любимой собачкой. Именно с этого портрета императрицы началась головокружительная карьера Боровиковского. Не прошло и десяти лет, как он стал главным портретистом петербургской знати. Но он часто писал портреты и простых людей. И я с гордостью сообщаю вам, что первым, кто увидел двойной портрет горничных Львовых, милых девушек «Лизыньки и Дашиньки», был я, поскольку писался он Боровиковским на цинковой пластинке на моей даче.

Но идиллия в Никольском закончилась довольно быстро.

На Львовых посыпались одни несчастья за другими. Во вновь отстроенном доме в Никольском умерла Прасковья Федоровна, любимая матушка Николая... После рождения младшей дочери Прасковьи тяжело занемогла Мария Алексеевна: у нее случилась родильная горячка в самой тяжелой форме. Она потеряла память, никого не узнавала и долгие месяцы находилась в нервно-психическом расстройстве. Как переживал при этом Николай, я даже описать не могу. В тот же период он каким-то образом сломал правую руку и самостоятельно даже одеться не мог. Именно в это время у него впервые начали болеть глаза, что лишило его возможности читать, а это для Николая было сильнее всякой казни. На него было очень тяжело смотреть — за один год он состарился на десять лет. Как только полегчало Марии Алексеевне, супруги выехали в Никольское, а там снова наступило ухудшение. Кое-как справились с этими напастями. Мы с Наташей приезжали к ним совсем ненадолго, чтобы поведать друзей, но не докучать им, не утомлять своим присутствием. Тем не менее на душе немного полегчало после этой встречи — Львовы понемногу поправлялись душевно и физически.

В 1796 году почил в бозе Великая Екатерина, и Петербург замер в тревожном ожидании. Да что там Петербург — вся России замерла и притихла. Говорили, что в Зимнем дворце сразу все переменялось: шелест шелковых платьев сменился звяканьем ботфортов. По истечении времени я своим обывательским умишком, а более того со слов Николая понял: при всех своих парадоксах, капризах и выходках император Павел не был маньяком, как его пытались представить заговорщики. Он был высокообразованным человеком, понимал толк в искусстве, обладал чувством прекрасного. Едва вступив на престол, новый император, то ли по интуиции, то ли по искреннему расположению, сразу стал выделять Львова. Когда задумал он небывалый публичный спектакль с перезахоронением и коронаванием трупа батюшки своего императора Петра Третьего, то направил в Москву именно Николая, который должен был доставить в Петербург древние царские регалии, никогда прежде не покидавшие Кремля. Львов выполнил распоряжение государя безукоризненно и после коронавания трупа Петра Третьего отвез царские регалии обратно в Москву, в Успенский собор. Каким образом друг мой сумел заинтересовать нового императора своей идеей землебитного строительства, я даже представить не могу! Первые дома из земли он построил в своем Никольском и был необыкновенно счастлив тем, что они получились! Вслед за ними поручено было ему возвести в Павловске так называемую «опытную избу», которая тоже вышла удачной и произвела впечатление на всю царскую фамилию. Николай со смехом рассказывал мне, как по несколько раз в день великие князья и великие княгини приходили ее лицезреть, удивляясь скорости постройки, твердости и гладкости ее стен. И наконец получил Львов от императора задание, о котором мечтал: построить по данной методе Приоратский дворец. Дворец этот прославил его далеко за пределами России. Теперь император Павел совершенно убедился в достоинствах нового строительного материала и, к великому счастью архитектора, поддержал его идею по распространению землебитного строительства по всему государству Российскому. Как я уже не раз писал, сужу обо всем только по рассказам Николая, но все-таки даже я понял, что такое землебитная технология, когда слои спрессованного суглинка пропитываются известковым раствором.

— Земля, — втолковывал мне, невежде, Николай, — самый дешевый, огнестойкий и прочный строительный материал.

Львов мечтал вытеснить из России деревянное строительство землебитным. Если эта идея могла бы осуществиться, не было бы нынче тех страшных пожаров, которые

пожирают целые села, и при том сохранялись бы наши леса. Николай сумел убедить императора и в необходимости создания специальной строительной школы, которая бы готовила мастеров землебитного строения. Личным указом Павла Первого летом 1797 года первая школа была открыта сначала в Никольском, позднее вторая — под Москвой. Директором, конечно, был назначен Николай Львов. Он оказался прекрасным учителем: за шесть лет своего существования школы выпустили из малограмотных до того мужиков восемьсот прекрасно обученных строительному делу мастеров.

Почти двадцать лет короткой жизни своей потратил мой друг на внедрение в косные умы своих соотечественников мысли о выгоде замены дорогого английского угля дешевым отечественным углем. Все было тщетно. Но императора Павла ему удалось убедить — был подписан указ «О разрабатывании и введение во всеобщее употребление каменного угля». Главным директором угольных приисков был назначен Николай Львов.

Но здоровье его все больше вызывало у нас, его друзей, опасения. В 1798 году к нему вернулась все та же тяжелая болезнь глаз. «Я с утра до ночи учу мужиков из пыли строить палаты... — с горечью писал он мне из Никольского. — А пыль и солнце — дурные окулисты...»

Пока у него был могущественный покровитель Безбородко, к которому благоволил император, и личное расположение Павла, Николай держался изо всех сил и продолжал неистово работать. Но в 1799 году Безбородко умер, это выбило его из колеи окончательно. Несчастья и неприятности посыпались на него со всех сторон.

Где-то в самом начале 1800-х годов последовал следующий удар: на Львова было заведено дело о чрезмерных расходах на землебитные постройки. Его обвинили в том, что он силами учащихся школы обустроивает свое имение. Было принято решение о закрытии якобы бесполезных школ землебитного строительства. Нервы нашего Леонардо сдали окончательно: он тяжело заболел. Чем именно он болел, ни один врачеватель определить не мог. Это было что-то ужасное. Николай то терял сознание, то приходил в себя и даже начинал диктовать какие-то письма, но, пытаясь писать сам, путал иностранные языки в одном предложении... И снова никого не узнавал, даже своих детей, часто бредил. Это состояние продолжалось бесконечно долго — он болел десять месяцев, умирая почти ежедневно. Мы с Наташей с тревогой ждали известий из Никольского. Наконец мы получили письмецо от нашего друга, которое он надиктовал жене: «Сегодня только мог я выслушать и уразуметь три ваших последних письма ко мне, умиравшему... Я движусь, как тень, которую водит чужая сила. Я часто не помню еще места, в которое меня привезли, не знаю дома, в котором живу... Силы мои душевные и телесные истощились, как я диктую, так и хожу, когда двое водят. Тем не менее я должен буду по делам своим везти кости мои в Петербург, как скоро в состоянии приду недвижим лечь в возок». Внизу была приписка от Марии Алексеевны: «Большому моему, слава Богу, милые мои, становится лучше, он уже сам начал ходить, понемногу становится похож на человека. Теперь любое его воспоминание о прошлом приносит ему истинное счастье». Едва сумев подняться на ноги, Николай поехал в Петербург, куда ему нужно было прибыть лично, чтобы объяснить о своих затратах и делах. Он доказал свою правоту, но чего это ему стоило! Приехал он один, Мария Алексеевна осталась в Никольском с детьми. Я навестил его в те дни, на него больно было смотреть, он был похож на воскресшего Лазаря — это был ходячий скелет.

Наш любимый доктор-акушер Нестор Максимович Амбодик-Максимович по моей нижайшей просьбе устроил Николаю консультацию у лучшего в Петербурге специалиста, лейб-медика Рожерсона. Это была известная личность, любимый лейб-медик государыни Екатерины, кроме него, она вообще не признавала никаких врачей.

Львова он знал лично, симпатизировал ему и очень уважал, поэтому с готовностью откликнулся на просьбу коллеги. Я был в квартире Львовых при этой консультации и слышал, как Рожерсон тихо сказал Нестору Максимовичу, выйдя из спальни Николая в гостиную:

— Я категорически советовал Николаю Александровичу идти в отставку... Ничего другого к исправлению его здоровья я не нахожу.

А ведь другу моему было тогда всего сорок восемь лет...

Несмотря на совершенное расстройство здоровья, Львов остановиться не мог. Он спешил, понимая, что век его недолог. В те дни он писал мне из Москвы по поводу определенной суммы денег, взятой у меня в долг, которую не успел отдать в назначенное время: «Долг считай на мне по приезду в Петербург, отдам тут же, как появлюсь. На том свете, мне сказывали, деньги недорого, а на здешнем ведь недолго жить...»

Это грустное письмо заканчивалось таким четверостишием:

Неведом и конец нам — вечности начала,
Не разрушается ничто, не исчезает.
Дай мне пожить еще немного,
Ведь каждому своя дорога...

Несмотря на серьезное расстройство здоровья, он продолжал работать очень много, спешил осуществить все свои планы, которые были бесконечными.

Императора Павла сменил новый государь — Александр Первый. И немедля на Николая оскалили зубы все завистники и доносчики, на него лавиной обрушились клевета и оговоры.

Я всегда считал своего друга гением, и, насколько я знаю, так же думали и все близкие ему по духу люди. Его достаточно высоко ценили и правители России. За недолгое время он прошел путь от чиновника VIII класса до действительного тайного советника. Стал действительным членом Российской академии, почетным членом Академии художеств, членом Вольного экономического общества, главным директором угольных приисков, главным начальником земельного битого строения в Экспедиции государственного хозяйства, директором Школы землебитного строительства.

Но так уж повелось испокон веков: всегда вокруг талантливых и гениальных персон вьется толпа завистников и сплетников, отравляющих жизнь этих избранных Богом людей. Так же было и с Николаем. Его считали баловнем судьбы, и на каждом шагу клеветники из чиновников и всякие ничтожные личности из дворян, как могли, препятствовали его процветанию. Их раздражало в нем все: и его многочисленные таланты, дарованные Богом, и фантастическая энергия, и самое искреннее желание помочь России. Это мрачное окружение, зависть и подлость, сплетни и клевета очень тяжело действовали на Николая, он стал впадать в депрессию.

Это время стало началом конца многих деяний Львова. «Я так несчастлив в делах моих, — писал он мне из Москвы, — что одного моего имени достаточно для того, чтобы остановить успех любого полезного начинания».

Александр не поддержал его — Школы землебитного строительства были закрыты, а сам метод признан неэффективным. На уголь, открытый и добытый Львовым, спроса не было...

Я очень переживал за здоровье Николая, не раз ему о том писал в Никольское и в Москву, но он только отмахивался. С ужасом узнал я от него, что по величайшему распоряжению ему поручено в ближайшие дни отправиться в составе экспедиции на Кавказ для обследования тамошних минеральных вод с целью признания их госу-

дарственного значения и необходимости их устройства. В подробности деятельности Львова на Кавказе я не посвящен вовсе, но со слов Марии Алексеевны знаю, что, как всегда, он провел там гигантскую работу: осуществил важные археологические изыскания, экономические исследования, составил проекты водных лечебниц...

Послесловие

На этом воспоминания старого петербургского кондитера обрываются.

Добавлю несколько строк, чтобы завершить его рассказ о последних днях жизни Николая Александровича Львова.

Свою последнюю миссию на Кавказе он выполнил успешно, несмотря на очередное резкое ухудшение здоровья. Ему едва хватило сил добраться до Москвы, где его ждала Мария Алексеевна, прибывшая туда вместе с горничной Лизой. Скончался он на руках у жены, которая перевезла его тело в Никольское. Николай Львов не завершил самого главного, самого прекрасного сооружения в своем имении — храма-усыпальницы во имя Вознесения Христова. Строительство храма после смерти мужа заканчивала Мария Алексеевна. Ее союз с Николаем Львовым, кажется, был действительно заключен на небесах. «Моя вторая половина, — говорил о жене Львов. — Я на счастье женат». Это было совпадение во всем: во взаимной любви и преданности, во внешней красоте и привлекательности обоих, в уме и остроумии, в недюжинных деловых качествах. Мария Алексеевна оказалась не только прекрасной женой, подругой, но и прекрасной хозяйкой имения, знала толк в виноделии и садоводстве, строго спрашивала отчет в делах с управляющего и все время думала о будущем детей. Родители оставили сыновьям немалое наследство, дочерям — достаточное приданое. После смерти любимого мужа весь смысл существования Марии Алексеевны сосредоточился на завершении строительства мавзолея. После освящения храма Вознесения Христова Львов был перезахоронен в усыпальнице. Мария Алексеевна почил рядом с ним через четыре года. Судьба отпустила любящим супругам один срок жизни на земле — пятьдесят два года...

В 1917 году склеп был осквернен. Останки четы Львовых и нескольких их потомков были выгашены из могил и разбросаны по всей территории имения.

В настоящее время на реставрацию Никольского нет средств, в нем царят разруха и запустение, лишь закрыт от вандалов металлической решеткой вход в усыпальницу.

Имя Львова оказалось забытым на долгие годы. В советские времена его фамилия не упоминалась ни в одной энциклопедии, о его научных открытиях знали лишь специалисты. Далеко не все многочисленные архитектурные памятники по всей России, сооруженные по его проектам, сохранили фамилию своего автора.

Но память о Николае Александровиче Львове бережно сохраняется на его малой родине — в Торжке. Десятки благоустроенных помещичьих усадеб, создание в них прекрасных архитектурных ансамблей, заново возведенные храмы в разрушающемся древнем Борисоглебском монастыре, несколько прекрасных церквей, построенных в самом Торжке... Местные краеведы продолжают исследовать его творчество. В 2004 году на главной площади города городская администрация и фонд имени Н. А. Львова установили знаменитому земляку скромный памятник. Автор бюста на высокой колонне — скульптор Ю. П. Карпенко. Этот бюст в Торжке — сегодня единственный знак уважения России своему великому гражданину.